

**Размышления над причинами революции  
в России  
проф. Андрей Борисович Зубов**

## Опыт восемнадцатого столетия

## § I

Раскол человеческого общества, – пишет Арнольд Тойнби, – является опытом коллективным, а значит, искусственным. Значение его определяется тем, что относительно внутренних движений, происходящих в обществе, это – явление внешнее. Духовные процессы происходят в человеческой душе, ибо только Душа способна переживать человеческий опыт и откликаться на него духовным проявлением. Раскол в человеческой душе – это эпицентр раскола, который проявляется в общественной жизни. Поэтому, если мы хотим иметь более детальное представление о глубинной реальности, следует подробнее остановиться на расколе в человеческой душе»<sup>1</sup>. За сто лет до Тойнби русский мыслитель Иван Киреевский выразил эту мысль одной фразой: «Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все»<sup>2</sup>. Эта мысль Тойнби и Киреевского – важнейший методологический принцип.

Русское общество пережило по крайней мере два глубоких раскола. Раскол петровский, начала XVIII века, и раскол большевицкий в XX столетии. И почти очевидно, что первый был причиной второго, а второй – реакцией на последствия первого.

Петр Великий совершил революцию с высоты трона. Традиционное течение русской жизни было круто и жестоко изменено. За бесчисленными преобразованиями первого русского Императора, изменившими все стороны национальной жизни от церковно-государственных отношений до кроя одежды и организации волосяного покрова лица, просматривается главная реформа, никогда не объявленная, но, как раз по Тойнби, одухотворявшая все его действия. Реформа эта – сознательное изменение аксиологии – целенаправленный переход от сотерии к эвдемонии, то есть от виденья предельной цели в достижении спасения и вечной божественной жизни к всецелой ориентации на максимальное благополучие в этом, временном мире. Эвдемонический идеал, оттесняя на второй

план сотерию, исподволь стал развиваться в сердцах русских людей, в первую очередь – правящего класса, чуть ли не с XV столетия. Но в сфере сознания сотерические цели продолжали главенствовать. Главенствовали они и в государственной идеологии. Первые Романовы сознавали свое служение как служение Богу ради православного народа. Бессмысленный и вредный с точки зрения реальной политики собор 1667 года и гонения на старообрядцев обретают смысл именно в контексте пусть и ошибочно понятого, но сотерического идеала: неправильное, не право-славное богопочитание погубит души людей, а потому заразу надо искоренять самыми жестокими методами.

Начиная с Петра ценностное соотношение меняется. Теперь уже не царство, не человек стремится служить Богу и спасению, а Бог и религия призываются служить царству и человеку в его земной, посюсторонней жизни, ради «чести и славы Державы Российския». «Реформа Петра, – отмечает прот. Александр Шмеман, – была прежде всего резким перерывом „теократической“ традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма... Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против Церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть „совестью“ государства, сжимает ее в тесные рамки „обслуживания духовных нужд“, причем сам же определяет и эти нужды, и как их обслуживать»<sup>3</sup>. По крайней мере на уровне государственной идеологии совесть (то есть нравственный диалог человека со своим Создателем) подменяется присягой – клятвой человека человеку в безусловной верности Государю. Но ни один человек верен не бывает, верен только Бог. Поэтому верность человека человеку всегда условна, всегда относительна с обеих сторон. Петровский абсолютизм начал эту релятивизацию верности, завершившуюся отречением Николая II от России и отречением от Николая II его ближайших родственников, слуг и солдат, всего почти русского народа.

Если первая, петровская революция релятивизировала сотерический идеал, сделав его прислужником эвдемонии, то

вторая революция вовсе отменила его. Большевицкий режим стал первым устойчивым режимом в истории человечества, полагавшим веру в Бога и алкание вечной жизни тяжким преступлением, каравшимся смертью или преследованиями. Цели большевизма были исключительно эвдемоническими и ничем, кроме эвдемонизма, не обосновывавшимися. Постепенно обессилевшие в петербургскую эпоху светского абсолютизма совесть и верность вновь восстановили свою власть над обществом, но это были уже «социалистическая совесть» и «классовая верность». Место Бога в диалоге совести заступил вождь, ставший «умом, честью и совестью» коммунистического режима. Петр освободил в душе народа место, до того принадлежавшее Богу, сделав себя и своих потомков на троне «викариями Христа», большевики, вовсе изгнав из сознания народа жертвенный образ Богочеловека, воздвигли на «святом месте» идол «человекобогу», которому поклонился в судьбоносные революционные годы русский народ.

Обвал 1917 – 1922 годов, та национальная катастрофа, которая изничтожила императорскую Россию, произошла, понятно, не вдруг. Народ пошел за крайним радикальным элементом – эсерами и большевиками, освобождавшими его от Бога, нравственного закона и родины, явно предпочтя их власть власти Белых генералов, боровшихся за утверждение гражданской свободы, за сохранение закона, за неприкосновенность святынь, за «великую Россию», и долго не желал видеть, что он жестоко обманут Лениным, Троцким, Сталиным. А когда, после кошмара коллективизации и голодомора 1932 – 1933 годов, сомневаться в сатанинском характере большевицкой власти уже не было никаких оснований, у людей не осталось нравственной силы к сопротивлению каннибальской тирании ВКП(б).

«Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, – а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по

несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и несмотря на всю жажду Сталина – остановилась бы проклятая машина! Если бы... Если бы... Мы просто заслужили все дальнейшее»<sup>4</sup>.

Разве такая удивительная потеря воли в борьбе со злом, такое удивительное исчезновение даже элементарного, животного чувства самозащиты, защиты своих детей, своей семьи, – разве все это не признак какого-то крайнего духовного упадка – или, если называть вещи своими именами, какого-то тяжкого греха. «Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат как вода. Тогда они препояшутся вретисцем и обоймет их трепет» (Иез. 7: 16 – 18). Не о нас ли эти слова пророка? Не нас ли объял трепет? Не наши ли колени задрожали, «как вода»? Разлад в душах имел следствием потерю воли к сопротивлению. Говоря словами поэта – «Народ как раб на плаху лег» (Иван Савин). «Не сказать ли – размышляет в „Архипелаге“ Александр Солженицын, – что граждански-мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?»<sup>5</sup>

Если продолжить анализ духовного разлада, начатый Тойнби, то мы обязательно должны коснуться теории аскетики. Внимательным к своей душе и воле людям хорошо известно, что грех порождает или волевое бессилие, астению, в случае если он осознается как грех, как что-то дурное и согрешивший сокрушается тем, что он наделал, но преодолеть грех не в силах; или, если согрешивший упорствует в грехе, убеждает себя в его полезности и благодати для себя и других – совершённый и оправданный в душе грех становится причиной ожесточения, осатанения, редукции совести, а часто и помешательства. Христианство знает способ преодоления этой беды – таинство покаяния, возвращающее душе свободу и нравственную силу. Бог был запрещен большевиками, народ, приняв большевизм, согласился на этот запрет, и в советских людях можно наблюдать оба следствия нераскаянного греха, астению у одних и готовность на все тяжкие у других, как

массовое явление с самого начала широкомасштабных репрессий. Но если бессилие организовать на защиту добра перед лицом неудержимо растущего зла является особенностью советских тридцатых годов, то где кроется причина этого поразительного гражданского обессилевания? Разумеется, не в масштабе репрессий. Сам масштаб репрессий и неприкрытая наглость палачей – результат сознаваемой ими их безнаказанности.

Но не всегда совграждане были жертвами. У Солженицына в только что приведенных словах речь идет о повальных арестах 1934 – 1935 годов в Ленинграде. А и двух десятилетий не прошло с тех пор, как эти самые граждане, которых увозили в Большой дом, восторженно, или по крайней мере спокойно, без возражений, встретили февраль 1917 года. Февраль, а потом и октябрь. Те, кому в 1934 году было сорок, в семнадцатом было двадцать три. Самый солдатский возраст. Когда группа заговорщиков из социалистов-революционеров, социал-демократов и конституционных демократов, соединившись с октябристским крылом Думы, договорившись с командующими ряда фронтов, организовала путч в Петрограде с целью свержения Государя, население столицы легко склонилось на призывы агитаторов. Незамысловатый трюк с отсутствием в течение трех суток выпечного хлеба вывел народ на улицы с требованиями хлеба и ответственного правительства, а между тем шел третий год изнурительной войны и враг стоял в предместьях Риги. Можно ли представить себе ленинградцев, бунтующих против Сталина в 1941 – 1942 годах, когда не то что выпечного хлеба не было вдоволь, но смерть от голода стала обычным концом десятков тысяч человек, а вина правительства в полной неготовности и страны и города к войне была для умного человека вполне очевидной. Но в 1942 году умирали тихо, а в 1917-м – бунтовали.

Трудно себе представить, чтобы в 1942 году рабочие Ленинграда решились бы на забастовки и выдвижения требования к правительству и администрации. А в 1917 году забастовки в Петрограде были обычным явлением. Но вот перебои с выпечным хлебом вызвали резкую активизацию

забастовок и выступлений рабочих. 23 февраля бастовало 87 тысяч, 24 февраля – до 197 тысяч, 25 февраля – до 240 тысяч рабочих. Начались стрельба из толпы, нападения на полицию, провокации ответных действий жандармерии и войск. Казаки, высланные для разгона демонстраций, часто не вмешивались или даже поддерживали бунтовщиков. Около полудня на Знаменской площади казаками был зарублен ротмистр Крылов – первая жертва «великой бескровной». Он пал от рук тех, кто считался защитником власти. В ночь с 26 на 27 февраля солдатами Павловского полка был убит командир полка полковник Экстен. Утром 27-го выстрелом в спину во время построения учебных рот Волынского полка – их командир, капитан Лашкевич<sup>6</sup>. Убийство своего командира – лучшая форма революционизации солдат, которые из страха наказания будут, видимо, после заклания кровью верными сторонниками революции, считал Ленин, анализируя опыт 1905 года<sup>7</sup>. И действительно, 27 февраля сначала Павловские, а затем Волынские роты стали отказываться подавлять волнения, и солдаты с оружием перебежали к демонстрантам. В это время Царскосельский гарнизон грабил окрестные питейные заведения и только сводный гвардейский полк еще нес охрану Александровского дворца. Однако 1 марта и царскосельские гвардейцы с развернутыми красными знаменами пришли к Таврическому дворцу присягать Думе.

Сторонний очевидец, Морис Палеолог, так пишет об этом: «Во главе колонны шел Конвой, великолепные всадники, цвет казачества, надменная и привилегированная элита Императорской Гвардии. Затем прошел полк Его Величества, священный легион, формируемый путем отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ Царя и Царицы. Затем прошел еще Железнодорожный полк Его Величества... Шествие замыкалось Императорской дворцовой полицией, отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций... И все эти офицеры и солдаты заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают... В то время как я пишу об этом позорном эпизоде, – резюмирует посол



республиканской Франции, – я вспоминаю о честных гвардейцах-швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем Людовик XVI не был их национальным Государем и, приветствуя его, они не величали его „царь-батюшка”...»<sup>8</sup>

Рассказ можно продолжать расцвечивать все новыми потрясающими фактами, но стоит ли? Факты и так собраны. Не раз опубликованы. Но так и не дан ответ на главный вопрос. Почему в конце февраля 1917 года по пустяковой – сравни с февралем 1942 года – причине город восстал, рабочие подняли красные флаги, прекратили работу, учебные заведения забурлили сходками, солдаты изменили присяге и перед лицом наступающего врага предали убийству командиров, пьянству и грабежам, парламент страны безответственно требовал ответственного правительства и интриговал против Ставки?

Даже как-то смешно объяснять все действиями немецкой агентуры или «жидомасонским заговором». Каждый человек имеет свободную волю и собственную совесть. Когда его провоцируют на бунт во время войны, не ясно ли, что это выгодно только врагам отечества. Почему же тогда и образованные и простые, и рабочие и парламентарии, и солдаты и студенты поддались на провокации? В чьих бы злобных головах ни родился план свержения законной власти и ввержения страны в анархию, каждый лично ответствен за его претворение в жизнь. Если бы российские люди остались верны долгу перед родиной, следовали нравственным, даже не христианским, но просто человеческим принципам, в те роковые дни февраля 1917 года трагедии бы не случилось.

Но вышло иначе. Еще даже не отрекся царь, а все почти, от расхристанного рядового запасных батальонов до героя «галицийских кровавых полей» генерала Корнилова и великого князя Кирилла Владимировича, надели красные банты и стали кричать «Долой самодержавие! Вся власть Учредительному собранию!». Читая ежедневные донесения в МВД начальника Петроградского охранного отделения генерал-майора Глобачева, диву даешься, с какой легкостью рабочие оборонных заводов тысячами выходили на улицы по призыву агитаторов,

громили лавки, ломали трамваи, избивали полицейских. И требовали... хлеба, которого было практически вдоволь, и ниспровержения самодержавия, лишившись которого Россия мгновенно рухнула в кровавую бездну зла и позора, откуда не выбралась и поныне. И выберется ли...

Примечательно, что, если все время после поражения Белых советская власть была сильна, энергична и победоносна в столкновениях с русским народом, а народ бессилён и покорен, то в февральские дни 1917 года императорская власть, все почти ее представители, были если не мятежны, то совершенно бессильны, а бунтовщики исполнены силы и энергии необычайной, но это была энергия распада, разрушения. Все, что разрушало, – укреплялось в силах. Все, что пыталось сопротивляться распаду, – терпело поражение, не могло и руки поднять от непонятного безволия.

В ночь с 1 на 2 марта началось восстание береговых частей «полуэкипажа» в Кронштадте и Гельсингфорсе. Несколько тысяч восставших смогли полностью терроризировать или привлечь к себе матросов и офицеров боевых кораблей и устроить повальные грабежи и убийства командного состава. Убито было с 1 по 4 марта более 120 кондукторов, офицеров, адмиралов и генералов флота и свыше 600 арестовано. И – никакого сопротивления, никакой организованной даже самозащиты со стороны боевых моряков.

1 марта в Твери толпа солдат запасных батальонов и рабочих Морозовской мануфактуры, ворвавшись в губернаторский дворец, выволокла на площадь губернатора Н. Г. фон Бюнтинга. Толпа глумилась над губернатором, потом кто-то выстрелил ему в голову из пистолета, и труп еще долго топтали ногами. «Так открылся первый день революции в нашей Твери... – вспоминал очевидец этой ужасной расправы митрополит Вениамин (Федченков). – А мы, духовные?.. Я думал (глядя на улицу, где глумились над губернатором. – А. З.) вот теперь пойти и... сказать: не убивайте! Может быть, бесполезно? А может быть, и нет?.. Увы, ни я, ни кто другой не сделали этого И с той поры я всегда чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей Думаю, в этот

момент мы, представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали, ни старый протоиерей, ни молодые монахи И потому должны были потом отстрадывать»<sup>9</sup>.

27 февраля, с кровопролитием, но опять же не встретив никакого сопротивления, разбойная толпа захватила Таврический дворец, в котором работала Государственная Дума. Характерно, что рота охраны Думы восприняла убийство своего командира не как повод к отражению нападения бандитствующей толпы, а как предлог для немедленной капитуляции.

Такая астенция воли не может быть мгновенным, спонтанным явлением. 1917 год – это не начало падения, не рубеж царства света и царства тьмы. Нет. 1917 год – это итог, это результат длительного процесса духовной и нравственной деградации народа, которая лишь проявилась в дни революции.

Что-то очень существенное должно было сломаться в нашем народе, чтобы боязнь нехватки хлеба побудила его к восстанию, к свержению власти перед лицом наступающих германских армий. Что же это? Видимо, не было в феврале 1917-го единодушия народа и власти, и именно поэтому «раскачать» народ шпионам ли, масонам ли, не важно, оказалось очень просто. «Цзы-гун спросил об управлении государством. Учитель ответил: „В государстве должно быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия и народ должен доверять правителю“. Цзы-гун спросил: „Чем прежде всего из этих трех можно пожертвовать, если возникнет крайняя необходимость?“ Учитель ответил: „Можно отказаться от оружия“. Цзы-гун спросил: „Чем прежде всего можно пожертвовать из оставшихся двух, если возникнет крайняя необходимость?“ Учитель ответил: „Можно отказаться от пищи. С древних времен еще никто не мог избежать смерти. Но без доверия народа государство не сможет устоять”» («Лунь юй», 12, 7).

Булат Окуджава сказал о том же с предельной ясностью в двух строфах:

Вселенский опыт говорит,  
что погибают царства

не оттого, что тяжек быт  
или страшны мытарства.  
А погибают оттого  
(и тем больней, чем дольше),  
что люди царства своего  
не уважают больше.

Февральская революция доказала, что недоверие администрации Николая II – бесспорный факт общественного сознания. Никакая злобная агитация не могла бы обмануть сотни тысяч христиан Петрограда, отнюдь не самых диких и необразованных в России, никакая агитация не могла бы заставить армию прекратить сражаться с неприятелем и уйти с поля боя домой, – случай, кажется, беспрецедентный в истории человечества, – если бы рычаг государственной власти продолжал воздействовать на народ через привод веры во власть. Привод этот, однако, был безнадежно сломан. Почему?

Но достаточно вопросов. Подойти к ответам на них нам удастся, только если мы обратимся ко второму элементу диады «народ – власть». Если мы исследуем духовное существо самой власти, рухнувшей в феврале 1917 года.

## § II

Богобоязненный и старавшийся жить праведно индийский император Ашока оставил более двух тысяч лет назад высеченную на колонне надпись: «Благочестивые деяния мною совершены. Люди, беря их за образец, начинают поступать сообразно с ними. Благодаря этому они продвинулись и будут продвигаться в покорности матери и отцу, в покорности наставникам, в соответствующем возрасту отношении к старшим, в подобающем отношении к священникам, к бедным и обездоленным – вплоть до рабов и слуг» (указ № 7). «Ты должен действовать, – поучает в священнейшем тексте Индии „Бхагавадгите“ Кришна царя Арджуну, – имея в виду целокупность мира: что делает лучший, то и другие люди; какой он выполняет устав, такому следует и народ» (3, 20 – 21).

Вельможа из древнекитайского царства Лу спросил Конфуция: «Как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к этим принципам?» Конфуций ответил: «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благородного мужа – ветер, мораль простолюдина – трава. Трава клонится по ветру» («Лунь юй», 12, 19).

Этот основополагающий принцип общественных, в частности и политических, отношений с предельной простотой выражен в русской поговорке: «каков поп, таков и приход». Порой мы наивно полагаем, что личная жизнь каждого никак не влияет на иных людей, если она видимо не воздействует на окружающих. А она влияет, и особенно сверху вниз. Нравственность родителей определяет судьбу детей и внуков, начальника – подчиненных, правителя – подвластных. Конечно, человек высокого духа всегда может противостоять разлагающему влиянию, как бы низко на формальной социальной лестнице он ни стоял. Такие люди находились во все эпохи, в любом обществе. Они – мерило праведности народа, его обличители и словом, и самой жизнью своей. Именно их гонят при жизни и именно им посмертно, когда

раскаются, возводят гробницы соотечественники. Человек всегда свободен избирать добро или склоняться ко злу. Более того, благодаря совести, он всегда в глубинах души знает, какой путь – хороший или плохой – избирает. И все же опыт человечества учил мыслителей древности, что обычный средний человек склонен подражать родителям, вышестоящим, следовать норме отца и начальника. Отсюда особая забота законодателей древности о нравственности и добродетели начальствующих. Ведь «страдает целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду неправосудьем своим от прямого пути отклонивших» (Гесиод, «Труды и дни», стр. 240 – 243).

А. Тойнби эту древнюю истину назвал в своей системе «мимесисом»: «Для того, чтобы побудить инертное большинство следовать за активным меньшинством, недостаточно лишь силы духа творческой личности. Освоение высоких духовно-нравственных ценностей предполагает способность к восприятию „культурной радиации“, свободный мимесис как подражание духовно-нравственному порыву избранных носителей нового»<sup>10</sup>. Увы, когда правящее меньшинство вместо духовно-нравственного положительного примера своими действиями начинает соблазнять и развращать инертное большинство, в этом большинстве происходит двоякий процесс растрепания и отчуждения. «Радиация» дурного примера не менее, если не более (учитывая падшество человеческую) заразителна, чем доброго и нравственного, особенно когда распространяется сверху вниз. Своекорыстие и безнравственность высших превращают инертное большинство, говоря в понятиях Тойнби, во внутренний пролетариат, стремящийся к ниспровержению власти, моральному авторитету которой он больше не верит, благоденствие которой считает незаслуженным, а ее правление бесполезным и даже вредным. «Французская Революция, – пишет на исходе XVIII столетия граф Жозеф де Местр, – основной своей причиной имеет моральное падение Дворянства»<sup>11</sup>.

Но ниспровергает народ власть тогда, когда сам уже вполне развращен корыстной властью, нравственно уподобился ей и жаждет от нового порядка для себя тех благ, которыми при

старом режиме обладали «бывшие», которых надо изгнать или истребить, ибо на их порабощение у их бывших рабов не хватает интеллектуальных сил.

Анализируя государственные дела, их «объективную» полезность или вредность, историк не должен забывать, что внешнее является проекцией внутреннего, общественные дела – реализацией личных принципов, норм, убеждений и верований. От решения человеком «главного вопроса жизни»: кто – он, несовершенный человек, или его Творец – Совершенный Бог, – «мерило всех вещей», – зависит и внутреннее устройство души, и устремление личного делания, и то влияние, которое деятель распространяет вокруг себя. И вот, возвращаясь к нашей истории, к ее последним векам, поражаешься, как далеки были от нравственного образца христианина российские «лидеры» – и цари и дворяне, правившие православным народом и воспитывавшие его своим примером в судьбоносном для России XVIII столетии.

Император Петр Великий вызывает из Неаполя сына Алексея от первой, давно брошенной жены, вызывает, клятвенно обещая неприкосновенность. И как только простоватый царевич, поверивший отцу, пересекает границы отечества, он тут же берется под стражу, подвергается допросам с пристрастием и, наконец, по приговору царственного отца удушается в каземате Петропавловской крепости, дабы не Алексей, а любимая жена Екатерина и ее дети могли наследовать престол. От Романова, убившего своего сына Алексея, до Романова, расстрелянного с сыном Алексеем на руках, через два века тянется какая-то роковая нить.

Народ отнюдь не забыл убитого царевича. Долго ходили сказы, что он чудесно наследует престол и вернет правду. Другие шептали, что правит вовсе и не православный царь Петр Алексеевич, а немец, русского же царя шведы «в столб заложили» или «в бочке в море пустили». А немец, понятно, законного наследника убить пожелал. Сказы эти отнюдь не укрепляли любви к сыноубийце и двоеженцу.

После смерти патриарха Адриана молодой царь запрещает возведение нового патриарха, явно боясь противодействия со стороны Церкви своим реформам и своей разгульной жизни. Просвещенческий идеал абсолютного монарха – повелителя не только внешней жизни, но и совести своих подданных, обольщает его. Вера нужна Петру как инструмент власти, а не как мерило праведности, Церковь – как подданный, а не как судия. В религиозной политике, как и во многом ином, Петр действует совершенно в духе западного абсолютизма.

И вот рождаются «Духовный Регламент» и Синод, возглавляемый государевым чиновником – обер-прокурором, без согласия которого бессильно любое начинание Русской Церкви (патриаршество упразднено было фактически с 1700 года, формально – с 14 февраля 1721 года). Если бы Петр, как православный христианин, трепетал перед тайной действия Духа Святого в Церкви, он никогда бы не решился ради достижения любых земных благ вторгаться в освященный многовековой традицией строй церковной жизни, но скорее стремился бы сообразовать свою деятельность с этим строем. Но никакого благоговения перед святыней Церкви царь Петр Алексеевич не испытывал. И свершилось – «Орел Петровского, на западный образец устроенного самодержавия выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвященника Российского с его векового места в Успенском соборе», – священномученик Иларион, будущий архиепископ Верецкий (убит 15 декабря 1929 года большевиками), произнес этот вердикт, это почти судебное определение 23 октября 1917 года на Поместном Соборе<sup>12</sup>, восстановившем патриаршее возглавление Русской Церкви. Но до этого два века, весь Петербургский период, петровские новизны не отменялись, Церковь управлялась государственными чиновниками, состоя в «крепостной зависимости» от светского обмирщенного государства, которое, упразднив самостоятельность Церкви, упразднило и свою совесть. До самого конца императорской России правители, именовавшие себя «православными самодержцами», испытывали страх перед возможностью восстановления



патриаршества, ими же уничтоженного, видя в нем не опору, но угрозу своей власти<sup>13</sup>. Каков же был нравственный характер петербургского самодержавия, если оно страшилось свободного христианского воззрения на себя?

Для очень и очень многих, и не только для староверов, первый русский император стал образом антихриста, упразднившего патриаршество, издевающегося над таинствами и обрядами Православной церкви, тысячами казнящего неугодных бояр, казаков и простую чадь. Русские люди содрогались от царских жестокостей, от любви его к палаческим забавам, пыткам и казням, которые он исполнял собственноручно. «Которого дня Государь и князь Ромодановский крови изопьют, того дня и те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им хлеб не естся»<sup>14</sup>. Женильба на немке, табакокурение, разгульное винопитие, обман и тайная казнь сына от православной законной супруги, надругательство над могилами умерших врагов довершали печальный список «воспитательных примеров», которые царь Петр давал своему народу.

Мы здесь сталкиваемся с известной дилеммой. Оправдываются ли добрыми целями безнравственные средства? Можно спорить, добрыми ли были цели Петра, необходима ли была для выживания нашей страны вестернизация «через колено». Споры об этом начались еще в XVIII веке и не утихли по сей день. Пример Японии, не заплатившей традиционной культурой за модернизацию, при том что японская жизнь намного больше отличалась и по истокам, и по наличествовавшим формам от европейских стандартов, позволяет предполагать, что и по целям русская модернизация могла быть не столь радикальной, а тогда постепенные реформы царя Алексея Михайловича и его детей – Федора и Софьи, осуществляемые боярином Артамоном Матвеевым и князем Василием Голицыным, могли бы дать пусть не столь скороспелый, но более питательный плод. Средства, которыми осуществлялись реформы Петра, были однозначно аморальны и нетерпимо жестоки. Ссылки на то, что так было и в иных странах в то время, – ничего не значат.

Десять заповедей не релятивизируются ни в какое время и никакой распространенностью преступления их. Более того, из аскетики хорошо известно, что дурные средства никогда не приближают к благой цели, но только отдаляют от нее или перечеркивают саму цель. Цель, ради достижения которой надо нарушать заповеди и творить зло, однозначно именуется соблазном и считается происходящей «от лукавого».

Современники Петра отнюдь не были наивными простачками, не понимавшими «исторического значения» его великих реформ. Но царь Петр и большинство его подданных мыслили в разных системах ценностей. Для Петра слава и величие России были высшей целью, целью «любой ценой». Не воспитанный религиозно, он в своих действиях не имел моральных сдержек и шел к цели напролом. Его подданные усматривали во многих действиях царя похоть славы, личного величия и личного же блага. Они видели, какой ценой достаются победы России, и не верили, что так достигнутое послужит на пользу Отечеству. В Преображенский приказ доносили, что народ шептал: «„Мироед, весь мир переел. На него, кутилку, переводу нет, только переводит добрыя головы... Он дворян всех выволоч на службу, крестьян разорил с домами“, а жен их „осиротил и заставил плакать век... Если он станет долго жить, он и всех нас переведет“»<sup>15</sup>. А личное поведение царя и его «птенцов» весьма соблазняли народ и разрушали христианскую нравственность. Знающие Писание вспоминали слова апостола Иакова: «Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15) – и ничего хорошего от петровских реформ не ждали. XX век наглядно показал, что правее были они, а не те, кто объявлял Петра спасителем и строителем России. То, что скрывала Петербургская эпоха, обнажила революция и советчина. Россия вновь сжалась до Московии, а от всех реформ Петра осталось людодержавство, безверие, нравственный релятивизм и характерная любовь Сталина к великому предшественнику. Может быть, мы были бы дальше, ежели б ехали тише?

### § III

Эпоха дворцовых переворотов, немецкого засилья, фаворитов и слабых государынь, затянувшаяся на тридцать пять лет после смерти Петра I, никогда не рассматривалась в России как нечто благое и созидательное, хотя царствование доброй и религиозной Елизаветы Петровны сохранило в народе хорошую память, но солнце Екатерины Великой – столь ли животворно было оно для судеб России?

Екатерина Великая взошла на престол, свергнув своего мужа Петра III и через двое суток по перевороту задушив его в Ропше руками брата своего любовника. Ее скандальные связи, кураж фаворитов вряд ли могли научить подданных христианским основам жизни, а просвещенческое отношение к Церкви Христовой только как к социально полезному институту – содействовать возрастанию православного благочестия.

В стихотворении-панегирике на открытие статуи Екатерины А. Н. Апухтин, в частности, говорил от имени Императрицы:

Я женщина была – и много я любила...

Но совесть шепчет мне, что для любви своей

Ни разу я отчизны не забыла

И счастьем подданных не жертвовала ей.

«В исторической и беллетристической литературе написано много былей и небылиц о фаворитах Екатерины, – вторит поэту историк, – но только те из них играли роль в государственном управлении, которые были пригодны для этого; остальных она держала лишь во внутренних покоях своего дворца вместе со своими комнатными собачками»<sup>16</sup>.

Здесь между тем вновь сталкиваются секулярно-рациональная и религиозно-мистическая системы мировоззрения, эвдемоническая и сотерическая аксиологии. Для секулярно-рациональной мотивации, направленной к эвдемоническому идеалу, задачи власти предельно четки и конкретны – благоденствие государства, богатство, безопасность и свобода граждан. Цели эти достигаются правильными законами и методами администрирования. Личная

жизнь администраторов при этом выносится за скобки – считается, что никакого отношения к государственной деятельности она не имеет. Увы, рациональные утопии никогда не удавались. Воплощаясь, они превращались в страшных монстров. И все это потому, что рациональным и инструментальным содержанием ни человек, ни общество не исчерпываются. Под поверхностью рассудка лежит бездна подсознательного, инстинктивного, иррационального, которая ломает все построения утопистов. Да и сама монархия как властный институт основывается на этих подсознательных религиозных мотивациях, зиждется на вере в Бога и на божественных законах организации мироздания. Нельзя надеяться сохранить монархию, если монархи попирают божественные законы. Законы останутся, а вот монархия падет. В религиозной системе координат у царя нет частной жизни, нет права на нее. Царь полностью погружен в общество, является его главой и его сердцем. Любые нравственные огрехи царя крайне болезненно быют по всему народу, развращают и разрушают его.

Семейная мораль царского дома была грубо нарушена уже Петром I. Короткое правление Петра III отличалось редкой безнравственностью и самого Государя, и подражавшего ему Двора. Императрица Екатерина, свергнув своего развратного супруга, не исправила установленные им порядки, но усугубила их. «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости – пример ея множества имения любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнародывая через сие причину их щастия, подал другим женщинам, – замечает князь М. Щербатов и делает следующий вывод: – Видя храм сему пороку сооруженный в сердце Императрицы, едва ли за порок себе щитают ей подражать; но паче мною почитает каждая себе в добродетель, что еще столько любовников непеременила»<sup>17</sup>.

Разрушительным для Российского государства последствием частной жизни Екатерины безусловно оказался крестьянский вопрос.

Внешний ход постепенного закрепощения крестьян на протяжении XVI – XVIII веков досконально изучен, и здесь нам нет необходимости повторять его основные этапы<sup>18</sup>. Важно отметить главное. В средневековом обществе, жившем в основном в системе натурального хозяйства, налог уплачивался, как правило, не деньгами, а службой, трудом. Вассал служил сюзерену (а следовательно, и обществу в целом) как воин, его сервы – как слуги, земледельцы, скотоводы. Если вассал не выходил на войну своего короля, а мужик отказывался пахать поля господина или уплачивать ему оброк, то их ждала одна незавидная участь, которая редко ограничивалась только изъятием имущества. Служба, тягло – форма государственного налога. Но как и современный государственный налог, он не отрицает собственности, а, напротив, проистекает из нее. По вопросу о формах собственности как в допетровской, так и в императорской России имеется огромная научная литература<sup>19</sup>. Говоря коротко, существовали две формы владений знати – вотчинная и помещичья. Вотчинник владел землями по принципу наследственного безусловного права. Его имущества могли быть отобраны в казну только за преступления, а в нормальной ситуации владелец свободно распоряжался ими. Это – «отчина», собственность предков, на которую царь никаких прав не имеет, кроме права налога – службы. Помещичьи земли – это земли Государя, дающиеся «в кормление», во временное пользование. Фактически доходами с земли, земельной рентой, но не самой землей оплачивает Государь услуги своего слуги. Помещичьи земли – собственность условная. Ими помещик свободно распоряжаться не может, но может с них жить. В XVII – начале XVIII века происходит постепенное превращение вотчин в наследственные неотчуждаемые помещичьи владения, за которые помещик обязан Государю службой. Также и поместья в XVII веке постепенно приобретают черты вотчин<sup>20</sup>. Царские указы 1714 и 1719 годов окончательно превратили поместья в вотчины и закрепили навечно крестьян за помещиками.

Здесь, как и во многих иных областях жизни, Петр Великий следовал европейским образцам. XVII – XVIII века почти во

всей Европе были временем максимального закрепощения крестьянства там, где в дефиците были люди, а в избытке земля, и огораживания, то есть изгнания крестьян с земли, там, где высшие сословия нуждались в земле для ведения интенсивного рыночного хозяйства. В обоих случаях крестьяне рассматривались лишь как экономическая реальность, но не как люди, единовенные соотечественники. Их права жестоко нарушались.

Протекавший в России процесс закрепощения не был уникальным для христианского мира явлением, но фактически вполне совпадал и по времени, и по формам с аналогичным процессом во многих странах Европы. Русские правители сознательно копировали современные им формы социальной организации. Вне общеевропейского контекста действия императорской власти сначала по закрепощению, а с Павла – по освобождению крестьянства останутся не вполне понятными. По крайней мере все разговоры о том, что русское крепостное право – ответ на отрицательные качества национального характера русского человека (леность, разгильдяйство и т. п.) и на специфические экономические обстоятельства России (избыток земли при нехватке людей, малая производительность земли, суровый климат и т. п.) – отпадают, если мы вспомним, что немцы, датчане, поляки, венгры, словенцы, чехи, итальянцы несли в том же XVIII веке тот же крест крестьянского рабства.

Но хотя закрепощение (иногда его называют вторичным закрепощением, подразумевая под первым закрепощением раннефеодальные отношения XI – XII веков) было наднациональным процессом, оно отнюдь не было процессом неизбежным, естественным, вненравственным. Напротив, нравственная предосудительность закрепощения проступает весьма явственно. В XVII – первой половине XVIII века по всей Европе полыхали войны, и не имеющие денег воинственные монархи предпочитали расплачиваться со своими офицерами трудом мужиков. Можно ли было создать регулярную армию России без закрепощения деревни, нужно ли было ее создавать? Это – открытый вопрос. Но он перерастает в вопрос еще больший: есть ли такие ситуации, когда интересы

государства следует приносить в жертву интересам его граждан? Сейчас находятся люди, оправдывающие гекатомбы сталинизма подготовкой к войне с Гитлером, но даже если когда-нибудь удастся доказать (что более чем сомнительно), что уничтожение миллионов людей укрепляло СССР, то имеет ли правитель право на такие «укрепляющие средства»? То же самое и порабощение собственного народа. Цена, которую со временем за это приходится платить, всегда непомерно выше сиюминутной выгоды. Да и не государственный, но частно-корыстный интерес всех этих аморальных решений власти быстро проявляет себя во всей полноте, уничтожая даже видимость защитной аргументации, все равно, крепостного ли права или коммунистического тоталитаризма. В России от начала XVIII века и вплоть до эмансипации 1861 года корыстный интерес дворянского сословия в крепостном праве в ущерб интересу национально-государственному становится все более очевидным с каждым новым царствованием. Закрепощение крестьян государями повсюду происходит не столько из государственного интереса, сколько из желания монарха заручиться поддержкой высшего сословия. Дворянам же крепостные нужны для их частного благоденствия, и потому они сохраняют лояльность верховной власти, держащей народ в порабощении им. XVIII век в России продемонстрировал это с полной ясностью.

В петровское царствование, не потеряв еще всех элементов личной свободы, крестьяне уже продавались помещиками оптом и в розницу, переводились из имения в имение, подносились в подарок, отдавались в приданое. «Продажа крестьян в начале XVIII века практиковалась в громадных размерах», – отмечает один из лучших исследователей этой эпохи Матвей Кузьмич Любавский<sup>21</sup>. Императорский указ 1721 года с негодованием отмечает: «Обычай есть в России, что крестьян продают как скотов, чего во всем свете не водится». Увы, здесь Петр не совсем был прав (хотя сама оглядка на «весь мир», а не на Бога и нравственный закон весьма характерна) – продавали крестьян как скотов далеко не только в России. Но распространенность

преступления отнюдь не служит смягчающим обстоятельством при суде над преступником. Тот же Петр, возмущаясь продажей крестьян и написав в конце своего царствования только что упоминавшийся указ (который, впрочем, так и не вошел в жизнь), одновременно «содействовал развитию работоторговли»: в 1717 и 1720 годах он позволил людям всяких чинов, кроме шляхетства, покупать людей для поставки вместо себя в рекруты. Тогда же крестьяне утрачивают безусловные права на свое движимое имущество. Закон предусматривал, что за долги помещика отвечает своим имуществом не только он сам, но и его крестьяне. Если имущество помещика продавалось с торгов и не покрывало суммы долга, выставлялось на продажу имущество его крестьян.

При Елизавете Петровне была отменена присяга помещичьих крестьян на верность воцарившемуся императору и его наследнику. Это означало, что помещичьи крестьяне более не считались дееспособными субъектами, не рассматривались как граждане, ответственно несущие тягло и в том присягающие на верность царю. За крестьян присягал теперь их помещик-дворянин, который отвечал императору за своих крестьян так же, как и за любое иное свое имущество. Прекращение приведения помещичьих крестьян к присяге переводило их в категорию «крещеной собственности».

В первой половине XVIII века крестьяне лишились не только гражданской, но и личной свободы. «Власть помещиков над крепостными была более власти самого государства, так как простиралась даже в сферу семейных отношений. Помещики разделяли родителей с детьми, устраивали по своему усмотрению браки руководясь соображениями заводчиков рысистых лошадей и породистых овец. При выходе замуж за пределы вотчины требовали выводные или отпускные грамоты, а за выведенную невесту взымали плату от 10 до 20 рублей... Помещики судили своих крепостных крестьян и наказывали их по собственному усмотрению, доходя иногда до ужасающих примеров жестокости»<sup>22</sup>.

Отсутствие личностного сознания у крестьян, многократно отмечавшееся наблюдателями в XIX веке<sup>23</sup>, в этом контексте



оказывается не врожденным национальным качеством русского мужика, но качеством, привитым императорской властью. М. Любавский приводит замечание английской путешественницы XVIII века леди Рондо о встреченных ею на пути из Петербурга в Москву крестьянах – это «народ очень учтивый, но вследствие непомерной работы и бедности потерявший образ человеческий»<sup>24</sup>. К XX веку крестьянское простонародье в массе утратило и те положительные качества, которые еще замечали сторонние наблюдатели XVIII века. Учтивость и открытость сменилась злобной скрытностью под маской тупости. Двести лет обращения с мужиком как со скотиной, непомерные работы и бедность сделали свое дело. 27 февраля 1917 года барон Николай Егорович Врангель встретил на улицах Петрограда совсем других мужиков, чем двумя столетиями раньше на пути в Москву леди Рондо. «Это были запасные, вылезшие на свет Божий из своих угрюмых казарм. Небритые, неумытые, с заплывшими серыми лицами... они напоминали громадное стадо баранов, застигнутое непогодой в степи... Ясно было, что все эти темные, серые существа не понимали, что происходило, были сбиты с толку, растерялись... В глазах их был страх, безотчетный и тупой... Смотрят не на тебя, а куда-то в пространство оловянным взглядом, от которого становится тоскливо на душе»<sup>25</sup>. Эти-то мужики, «рабы, утратившие страх»<sup>26</sup>, как не постеснялся назвать их барон Врангель, и решили судьбу России в 1917 году. За своими бывшими господами они не пошли, верить им отказались и с радостью стали грабить и убивать их. Но можно ли было ожидать иного от тех, у кого деда и прадеда «баронов врангелей» отобрали и личное гражданское достоинство, и имущество, и свободу?

Сравнивая помещичьих крестьян со старообрядцами и сектантами, такими же русскими мужиками, но не испытывавшими помещичьего гнета и сохранившими религиозную самоответственность, побуждавшую их веками сопротивляться церковной и государственной власти, можно видеть, что и иные «национальные» русские качества: безынициативность, пьянство, лень – суть качества приобретенные, навязанные извращением жизни низших сословий сословиями высшими.

Судя по северорусским ссудным грамотам, да и московским судебникам до Смутного времени, чувство личного достоинства высоко сознавалось всеми сословиями, а хозяйственное состояние Псковской и Новгородской земель говорят и о предприимчивости, и о трудолюбии свободных «мужей вечников».

Не следует забывать, что первый шаг к порабощению крестьян (отмена Юрьева дня) был сделан Борисом Годуновым, незаконным правителем, осужденным Церковью и общественным мнением как «властолюбец, вкупе и злой раб» (тропарь 2-го гласа службы царевича Димитрия), что прикрепление к земле исчезло само собой в годы Смуты и было восстановлено соборным уложением 1648 года именно как одна из форм всеобщего тягла, которое несут все российские граждане ради благоденствия отечества и собственного благополучия. После страшного разорения Смуты всеобщность тягла воспринималась как «окосмичивание» хаоса, и первые Романовы считали себя «тяглецами Божьими» в такой же степени, как и любой посадский или земский гражданин. «Пока существовала обязательная служба дворян, крепостное право оправдывалось в глазах правительства и дворянства и даже самих крестьян»<sup>27</sup>.

Указы Петра III 1762 года «О вольностях дворянства» освободили дворян от их тягла – обязательной личной службы Государю. Страшным нравственным и, в исторической перспективе, политическим преступлением Петра III было то, что, освободив в 1762 году от долга службы дворян, царь не освободил на следующий день от обязанностей тягла крестьян (В. О. Ключевский), но превратил их в рабов дворян на долгие 99 лет, а земли, находившиеся в условно частном крестьянском владении, не перевел в категорию безусловно частных, но дал их «просто» приватизировать помещикам.

Такое действие царской власти, возможно, и было экономически и политически целесообразным в то время, но безусловно являло собой глубочайшую несправедливость, неправду, которую видели и понимали и крестьяне, и дворяне<sup>28</sup>. «Крепостное право потеряло свое государственное оправдание,

– справедливо писал в своей „Истории России” министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. – Оно превратилось из общего для крестьян и дворян тяжелого государственного тягла в рабовладение, ничем не оправданное, кроме сословных дворянских интересов. Русское крестьянство эту коренную перемену в природе своего коренного состояния сразу учуяло»<sup>29</sup>.

Никакую эпоху либерализма указы эти не открыли, как наивно полагал В. В. Леонтович<sup>30</sup> и вслед за ним полагают современные отечественные «либералы», но, напротив, накрепко закрыли возможность складывания гражданского общества в России. А. С. Пушкин писал, что, хотя указами о «вольностях дворянства» «предки наши столько гордились», они их «справедливее должны были бы стыдиться»<sup>31</sup>.

Дело в том, что не только в системе сотерической, но и эвдемонической аксиологии порабощение граждан, отнятие их имущества не может не переживаться как преступление и нарушение основополагающих принципов властвования. Во благо подданных – благо царя, в их счастье – его счастье. Не следует забывать, что в древности институт монархии возник как религиозная форма, помогающая народу победить узы греха и смерти<sup>32</sup>, а когда Царство «не от мира сего» и земная царственность были разделены христианством, правитель освящался Церковью как гарант безопасности и благополучия народа в его земном шествии к вечности. Но о каком счастье и благополучии большинства населения России могла идти речь, когда его превращали в рабочую скотину для дворян и в сырье для строительства великой империи?

И преступление русского рабства усугублено было тем, что порабощались братья и сродники. Люди одного русского племени становились и рабами, и рабовладельцами. Имея в виду единство всего человеческого рода, рабство отвратительно всегда, но особенно отвратительно оно среди единоплеменников. Не случайно закон Моисея категорически запрещал евреям обращать в вечное рабство евреев же. «Если купишь раба Еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром» (Исх. 21:2). Закон

этот разъясняется далее в книге Левит: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих... Не должно продавать их, как продают рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего» (Лев. 25: 39 – 43). Но русские православные государи не испугались Бога, именем Которого освящали они престол свой, и жестоко поработили братьев бессрочным, неограниченным и тягостным рабством, нарушив тем не только высший закон Христов («возлюби ближнего своего как самого себя»), но и «ветхий» закон Моисеев.

Катастрофические последствия этой неправды пронизательные и умные русские люди поняли сразу, одна беда – таких пронизательных и умных были считанные единицы. Отмеченное «среди лучших» на конкурсе 1766 года Вольного экономического общества по устройению крестьянских имуществ сочинение Поленова в частности констатировало: «Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея ни малой от законов защиты, подвержены всевозможным не только в рассуждении имения, но и самой жизни обидам и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства, отчего неотменно должны они опуститься и прийти в сие преисполненное бедствий как для них самих, так и для всего общества состояние, в котором мы их теперь действительно видим». Помещики, указывает далее Поленов, крестьян «без всякой пощады и милосердия мучают, отнимая все то, что им на глаза попадется, и через то приводят в несказанную бедность, от которой они никогда не в состоянии избавиться»<sup>33</sup>.

## § IV

В манифесте о восшествии на царство от 6 июля 1762 года Екатерина не скупилась на поношения своего только что убитого супруга, объявляя его врагом русского народа и православия, но его главный антирусский и антиправославный закон вовсе не отменила, но, напротив, подтвердила целым рядом законоустановлений и распоряжений. «Намерены мы помещиков при их мнениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать», – провозглашала молодая муже- и цареубийца.

Правовое «положение крестьян ухудшалось непрерывно в XVIII веке, – пишет С. Ф. Платонов. – Столкновение интересов помещика, строившего все свое хозяйство на даровом труде крестьянина, с интересами крестьянина, сознававшего себя не рабом, а гражданином, было непримиримо и разрешалось, законом и жизнью, в пользу помещика»<sup>34</sup>. В 1765 – 1766 годах помещики получили право ссылать своих крестьян не только на поселение в Сибирь (это разрешено было уже Елизаветой Петровной), но и в каторжные работы за «дерзости» помещику. Помещик во всякое время мог отдать крестьянина в солдаты, не дожидаясь времени рекрутского набора. При этом в 1767 году крестьянам императорским указом было запрещено жаловаться Государю на помещиков – «Дабы никто Ее Императорскому Величеству в собственные руки, мимо учрежденных на то правительств и определенных особо для того персон, челобитень подавать отнюдь не отваживался» под страхом Нерчинской ссылки<sup>35</sup>. Права самоуправления, данные в 1775 году всем сословиям Империи, не были распространены на частновладельческих крестьян. В 1783 году были закрепощены православные крестьяне Украины. За 35 лет просвещенного правления Екатерины более 800 тысяч лично свободных черносошных крестьян были розданы с землями в рабство фаворитам Императрицы. Не следует забывать при этом, что все население Империи к концу царствования Екатерины достигало лишь 37 млн. человек, то есть вновь порабощенным

оказывался каждый сороковой гражданин России, а доля крепостных в населении Империи, постоянно возрастая в течение всего XVIII столетия, достигла к 1795 году максимальной величины – 54 процента. Абсолютное большинство подданных просвещеннейшей Императрицы являлись частновладельческими рабами<sup>36</sup>.

Впрочем, ответственность за отвратительное преступление порабощения «брата своего» с государями XVIII века разделяют все высшие сословия, и даже шире, все почти непорабощенные россияне. Их голос дошел до нас благодаря наказам с мест депутатам в Комиссию для составления проекта нового Уложения, созванную указом Екатерины от 14 декабря 1766 года, и прениям в самой Комиссии. Этот так и не завершивший работу первый русский парламент Петербургской эпохи наглядно показал состояние общественного сознания, в частности, и по вопросу о крепостном праве. Императрица прямо поставила вопрос о положении и правах частновладельческих крестьян перед депутатами и получила примечательные ответы.

Наказы уездных дворянских обществ были единодушны: «Всепокорнейше просим, дабы в сохранение древнего узаконения и дворовые люди и крестьяне в подлежащем повиновении яко своим господам были, и о том в ныне сочиняемом проекте нового Уложения подтвердить с таким объявлением, что узаконенная издревле помещицкая власть над их людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, как доныне была, так и впредь будет» (от Полонской пятины Новгородской губернии). Керенские дворяне выдвигали аргумент русской самобытности, который пришелся бы по сердцу и современным евразийцам: «Дворянству своих людей и крестьян содержать на прежних основаниях в своей власти и полномочии, не ограничивая их преимуществ и полномочий, ибо Российской Империи народ сравнения не имеет в качествах с европейским». Позднее, в прениях в Комиссии, эту позицию вполне поддержал знаменитый моралист, князь М. М. Щербатов, избранный от ярославского дворянства. «При холодном климате России, – объяснял он, – земледельца

необходимо понуждать; правительство же за такой пространной монархией усмотреть не может; ныне же дворяне, владея своими деревнями, лучший присмотр делают».

Дворяне, менее склонные к теоретизированию, указывая на массовое бегство крестьян в соседние страны от своих помещиков, просили Государыню наказывать беглых рекрутчиной, каторгой, кнутом и плетью и не ставить помещикам в вину, если наказанные ими крестьяне умрут (тамбовские дворяне). Пусторжевские дворяне, предвосхищая советскую «границу на замке», просили, дабы исключить побег крестьян со скарбом и скотом, ископать двойной ров и вал по всей границе с Польшей и через каждые пять верст расположить военные отряды с пушками. Дворяне северо-запада России в этих же целях просили укрепить границу с Эстляндией и Финляндией. Как и советские народолюбцы, дворяне XVIII века желали укреплять границу не для защиты своего народа от внешнего врага, а для лучшего контроля над соплеменниками, в любовь которых к себе и к «родным палестинам» не верили. И все почти дворянские депутаты просили Императрицу сделать владение крестьянами и дворовыми рабами исключительно дворянской сословной привилегией.

Представители других сословных групп единодушно добивались права владеть крепостными наравне с дворянами. Об этом просили купцы, об этом же – сибирские дети боярские. Вольные казаки Донского, Чугуевского, Уфимского и Сибирского войск просили разрешения для старшины покупать дворовых людей и крестьян. О закреплении своих соплеменников-хлеборобов просила Императрицу и казацкая старшина Малороссии в 1763 году. До того казачьи паны пытались закрепостить мужиков самостоятельно, пользуясь малоросской автономией, да Елизавета Петровна указ войсковой канцелярии о запрете крестьянских переходов 1739 года отменила, сохранив украинцам вольность. О расширении прав на крепостных просили однодворцы и пахотные солдаты старых служб. Даже Св. Синод в лице своего депутата (духовенство от провинций не выбирало в Комиссию своих представителей)

«требовал предоставить право белому духовенству покупать себе в услужение людей, ссылаясь на то, что не самому же отцу протоиерею идти пахать землю или продавать что-либо Таким образом, почти от всех сословий раздалось требование не об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а о распространении права владеть ими», – резюмирует обсуждение вопроса в Комиссии М. К. Любавский<sup>37</sup>.

Поскольку, «с точки зрения чистой логики», медлить с освобождением крестьян после 1762 года «причин не было»<sup>38</sup>, то, чтобы избавиться от угрызений совести, естественных для рабовладельца, если он умный и порядочный человек, помещики тешили себя двумя обманами. Первый из них – мнение, что крестьяне не признавали своего бедственного положения. «Жизнь крепостных отнюдь не была сладкой, но и не была ужасной в той мере, как об этом принято писать сегодня, – вспоминал барон Врангель и пояснял далее: – Ужасной она не являлась, впрочем, только потому, что в те темные времена народ своего положения не осознавал, воспринимая его как ниспосланную свыше судьбу, как некое неизбежное, а потому чуть ли не естественное состояние»<sup>39</sup>.

Но такое мнение бесконечно далеко от действительности. Судя по множеству фактов, крестьяне вполне признавали свое гражданское достоинство, прекрасно помнили, что помещикам против их воли отдали их землю, их труд и их свободу. И. Т. Посошков, сам выходец из крестьян, в трактате «О скудости и богатстве» писал в 1724 году: «Крестьянам помещики не вековые владельцы а прямой им владетель Всероссийский Самодержец, а они владеют временно крестьянское богатство – богатство царственное»<sup>40</sup>. Пока было возможно – крестьяне жаловались на свое положение в Сенат и иные «высшие инстанции». А на запрет подавать жалобы ответили Пугачевским бунтом, хотя и беспощадным, но далеко не бессмысленным.

Призыв Пугачева «истребить проклятый род дворянский» вызвал огромное воодушевление среди крестьян. «Всему миру известно, – говорилось в одной из прокламаций Пугачева, – сколь российские дворяне обладают крестьянами, и хотя в



законе Божиим сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми, они обращаются с ними хуже, чем с собаками своими». В своем манифесте от 31 июля 1774 года Пугачев жаловал «всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, вольностью и свободой вечно казаками». Совершенно не важно, сколь серьезен был Пугачев, провозглашая эти принципы, главное, что они находили живой отклик в народе. Казаки-старообрядцы Яика шли к Пугачеву, боясь, что и их обратят в крепостных, а крепостные пополняли повстанческое войско, надеясь обрести свободу и свести счеты с дворянами. «Жена моя увлеклась на сторону дворян, и я поклялся перед Богом истребить всех их до единого, – объявлял самозванный Петр III. – Они склонили ее, чтобы всех вас отдать им в рабство, но я этому воспротивился, и они вознегодовали на меня, подослали убийц, но Бог спас меня».

Подавление бунта 1773–1774 годов превратилось в настоящую гражданскую войну, предвосхитившую войну 1917 – 1922 годов. Уже в крестьянских бунтах 1762 – 1766 годов, поднятых мужиками против «Матушки Императрицы», участвовало до 150 тысяч человек. Пугачев, по приблизительным расчетам, поднял на борьбу до 400 тысяч. Примечательно, что Емельян Пугачев, объявив себя Петром III, тем самым выявил народное убеждение в незаконности самого царствования Екатерины, а поставив рядом с собой «патриарха», показал, что в глазах народа незаконна вся синодальная церковная политика русских монархов XVIII века.

Пугачевская война стала предзнаменованием будущей российской кровавой Смуты. Это понимали современники. В 1775 году новгородский губернатор Сиверс предупреждал Императрицу: «Я позволю себе сказать, что неограниченное рабство погубит государство, и, мне кажется, я не ошибаюсь, считая невыносимое рабское иго главной причиной волнений от Оренбурга до Казани и на нижнем течении Волги...»<sup>41</sup>

Пламенный Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» написал, пусть и «варварским слогом», пророчество, показавшееся Пушкину «пошлым», «жеманным» и «чрезвычайно смешным»<sup>42</sup>, но нас, знающих, как оно сбылось в

начале XX века, заставляющее содрогаться. «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликкой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувство. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможно. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание будет нам посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут в мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение коликко яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут они ему вослед и ничего не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горбе постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими

Блюдитесь. Неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в поправлении нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство»<sup>43</sup>.

Но решение Екатерины было иным – Радищева заточить в крепость, а крестьян принуждать к безоговорочному повиновению, а не готовить к освобождению. Народ дичал в неволе, но «внутреннее чувство» свободы не исчезало в нем. Видимо, рабство столь противно человеческому естеству, по природе свободному, что свыкнуться с ним невозможно никогда.

В отчете за 1827 год начальник политической полиции Империи (III Отделения Императорской канцелярии) граф

Бенкендорф писал о крепостных крестьянах: «Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Всякий крепостной, которому удалось своим трудом скопить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу. Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний. Они ждут своего освободителя, как евреи своего мессию»<sup>44</sup>.

Так что мнение высших русских классов о том, что глупые и дикие мужики не признавали свое рабское состояние как ужасное, – лишь более или менее добросовестная уловка грешников, оправдывающих свои грехи тем, что от них никто не страдает или если и страдает, то страданий своих не сознает.

Второй самообман высших классов – широко распространенное убеждение, что крестьяне могли благополучно жить только под отеческой властью доброго помещика, без которой они быстро разлениваются, разоряются и спиваются. Об этом много говорили дворяне в екатерининской Комиссии, об этом писал в 1780 году генерал-майор Болтин, критикуя заметки о русской истории Леклерка. Об этом же не уставали повторять помещики и позднее, вплоть до самого 1861 года и даже позже.

Об эксперименте в своем имении в «Письме из деревни» рассказал Н. М. Карамзин (1802). Насмотревшись за границей свобод, он сменил барщину легким оброком. И вот – крестьяне обеднели и умнейшие среди них просили его «как отца» вернуться в свою вотчину и управлять ими «по старине», наказывая нерадивых и поощряя трудолюбивых. Автор «Письма» вернулся. «Я восстановил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную; вместе с ними на полях встречал и провожал солнце; хотел, чтобы они и для себя так же старательно трудились». Герой Карамзина (или он сам?) позаботился о гигиене своих крестьян, о добротности их домов и служебных построек. И в деревню вернулись зажиточность и благополучие<sup>45</sup>. Развитие сельского хозяйства, а

тем самым и благополучия крестьян, имевшее место в последнее время, полностью плод усилий помещика, утверждает далее историк и сравнивает помещичьих крестьян с государственными. Хотя государственные крестьяне платят меньше податей, поля у них обработаны хуже и живут они беднее.

Наши современные ученые, пройдя вместе со всем обществом страшный опыт коммунистической несвободы и человеконенавистничества, также склонны в большой степени оправдывать крепостничество, объясняя его хозяйственной и государственной целесообразностью<sup>46</sup>, особенностями русского менталитета или доказывая мягкость самого крепостного состояния<sup>47</sup>. Очень близкие аргументы выдвигаются и сторонниками советского строя – или советский режим был не так жесток, или он был хоть и жесток, но необходим. В действительности рабское состояние всегда нравственно предосудительно, экономически ущербно, государственно опасно и по определению жестоко. Мы видим, какой негативный отпечаток на американское общество накладывает до сего дня негритянская проблема. Потомки освобожденных почти полтора века назад черных рабов так вполне и не вписались в гражданскую жизнь Америки, являются источником общественной напряженности и существенным криминогенным фактором.

Но против довода, что только барщина и страх наказания заставляли крестьян работать с должной интенсивностью, а без принуждения крестьяне лодырничали бы, ограничивались прожиточным минимумом и не создавали бы того прибавочного продукта, который дал необходимые для становления российской государственности средства<sup>48</sup>, – против этого довода можно выставить два возражения. Во-первых, леность и безынициативность крепостных – не врожденное русское качество, но как раз вбитое рабским состоянием. Во-вторых, даже если бы ограниченность потребностей и склонность к праздности действительно были национальными чертами, их следовало бы уважать, а если и врачевать, то постепенно, скорее заинтересовывая крестьянина возможностями лучшей

жизни при повышении его доходов, нежели выдавливая из него труд наказаниями.

Быть может, в имении Н. М. Карамзина «война с ленью» обошлась без пролития крови, но в быту отношений помещиков и их крестьян плети, кнут, розги, зуботычины являлись делом вполне обычным. Главным методом интенсификации крестьянского труда при крепостном праве было именно жестокое внеэкономическое принуждение. У частновладельческих крестьян принуждение было большим, чем у государственных, – отсюда и более высокая производительность. Иностраный путешественник эпохи Екатерины писал: «Наказания рабов так часты, так обычны в деревнях, что невозможно не слышать сплошь и рядом криков несчастных жертв бесчеловечного произвола. Эти пронзительные вопли преследовали меня даже во сне»<sup>49</sup>. «В барщинном имении в течение года получали телесные наказания около 25 % взрослых крестьян мужского пола (данные за 1818 – 1858 гг.) Случалось, что наказания заканчивались для крестьян летальным исходом. По неполным данным III Отделения, в 1858 г. зафиксировано 46 случаев смертельного наказания и 16 случаев мертворожденных младенцев, вызванных жестоким наказанием женщин»<sup>50</sup>. «Без высокого уровня насилия крепостная система хозяйства переставала быть эффективной», – резюмирует Б. Н. Миронов<sup>51</sup>.

Стремление к посюстороннему благоденствию (эвдемоническая аксиология), ясно проявившееся в высших группах русского общества в XVIII столетии, могло утвердиться, только если его приверженцы обретут дополнительные источники дохода. В конечном счете первичный доход давал в аграрном русском обществе почти исключительно труд крестьян. И если крестьяне готовы были трудиться лишь столько, сколько нужно было им для самообеспечения, то к большому труду их можно было или принудить силой, или заинтересовать, способствуя росту крестьянских потребностей, постепенно переориентируя душу народа с сотерии на эвдемонию. Изменение ценностных ориентаций народа с сотерических на

эвдемонические (одна из важнейших целей европейского Просвещения да и сегодняшнего wellfair state) русскому правящему классу казалось (если как цель сознавалось вообще) слишком хлопотным и долгим, и потому был выбран путь простейший, но и трагичнейший по своим последствиям для России – порабощение народа для интенсификации его производительных сил.

Если бы русские самодержцы были скромнее в своих устремлениях к имперскому величию, а высшие классы – в поисках европейского стандарта благосостояния, крестьян порабощать бы не пришлось и шаг за шагом Россия бы возвысилась и без таких чрезвычайных мер, как превращение большей части населения в говорящие орудия. Если бы высшие классы давали пример самопожертвования простонародью, результат был бы иным; но русское дворянство приносило в жертву национальному величию не самих себя, но своих крестьян, заодно не забывая и об умножении собственного благополучия.

## **Опыт восемнадцатого столетия. Окончание**

## § I

Простые русские люди отлично знали, что “матушка императрица” – немка, не живущая православной верой и меняющая любовников по первой прихоти, – повинна в убийстве двух законных русских монархов – внука Петра Великого, своего мужа Петра Федоровича и правнука царя Ивана Алексеевича – Ивана Антоновича, заколотого в 1764 году в Шлиссельбургской крепости. Ее амбициозные реформы гражданского управления мало трогали крестьян, а ярмо рабства тяготило их с каждым годом екатерининского царствования все больше. Понимая зыбкость своих прав на престол и непопулярность в простом народе, Екатерина искала поддержки “шляхетства”, а поддержка эта могла быть куплена, как до того Анной Иоанновной и Петром Федоровичем, только ценой дозволения дворянам, не служа государству, еще более поработать “своих” крестьян для собственного благоденствия. Круг замкнулся. Усиливая дворян за счет крестьян, Екатерина отчуждала высший класс от низших и одновременно лишала дворян в глазах крестьян всякого доверия и нравственного авторитета.

XVIII век проложил глубокую пропасть между гражданской культурой высших и низших сословий России. Дворяне и крестьяне, еще в XVII столетии культурно почти не отличавшиеся друг от друга, стали чуть ли не двумя различными народами, не столько связанными друг с другом культурным мимесисом, сколько разделяемыми ненавистью низших к высшим и презрением высших к низшим. “В течение XVIII века, – указывает Б. Н. Миронов, – дворянство шаг за шагом отрывалось от народа, чему в большой степени способствовало и правительство. Дворяне стали отличаться именем и фамилией, языком и образованием, манерами и одеждой, западноевропейской ориентацией и менталитетом. Даже монастыри стали разделяться по сословному признаку”<sup>52</sup>. Указ 1766 года воспретил простолюдинам иметь “дворянские” фамилии и использовать отчество<sup>53</sup>.



За век Просвещения русское крестьянство стало совершенно невежественным, впало, по милости государственной власти и дворян-душевнодладельцев, буквально в скотское состояние, в интеллектуальный и духовный паралич. Поступить так в государстве, именующем себя православно-христианским, с “царственным священством”, с “людьми, взятыми в удел Божий”, с членами “тела Христова”, составляющими Церковь Живую, с теми, кто выкуплен из рабства греху и смерти кровью Богочеловека, а именно так именует Священное Писание Нового Завета христиан, – немыслимое кошунство. И потому “дикое рабство” имело своим быстрым следствием не только культурное одичание народа, но и нравственное вырождение рабовладельца. Не ценя и даже не замечая “образа Божьего” в своих меньших братьях, дворяне переставали видеть его и в самих себе. Вместо мимесиса воцарились отупение, ненависть, ложь и взаимное презрение. Стоит ли удивляться после этого, что вера угасла и в народе, и в его поработителях, а святыня Церкви перестала переживаться на Руси как высшая жизненная правда. Это была трагедия не только русская, но, в той или иной степени, всей Европы века Просвещения. Думаю, что и в странах Центральной и Западной Европы процесс секуляризации имел ложь крепостничества одной из важнейших своих причин.

То же самое можно сказать, если мы перейдем с духовного на душевный уровень анализа, и о социальном вырождении крепостного сообщества. Один из участников дискуссии “Крепостное право в России”, Д. И. Раскин, писал, на мой взгляд очень справедливо, о роли крепостничества: “Если во главу угла ставить сохранение государственности, величие „державы” – можно говорить и о благотворности крепостного права для судеб России. Если же считать интересы отдельной личности важнее интересов государства, во главу угла ставить развитие человеческой свободы, институтов гражданского общества и т. д. то, разумеется, взгляд на роль крепостного права в истории России может быть лишь сугубо отрицательный”<sup>54</sup>. Стоит, пожалуй, только добавить, что деградация общества довольно быстро сказывается и на величии “державы”, и на ее

безопасности, и страна, где народ лишен чувства гражданственности, падает в прах, ибо она, подобно Нововавилонской державе Навуходоносора, – колосс на глиняных ногах.

Петербургский двор Императрицы соперничал по блеску с Версалем, а в пятидесяти верстах от столицы русские православные люди, имевшие несчастье родиться крестьянами, по качеству образования и медицинского обеспечения ничем не отличались от эфиопов. Ревнительница просвещения, собеседница Вольтера и Дидро, созидательница университета и Академии наук, Екатерина проявляла исключительную заботу о культуре и образовании высших сословий. Во время ее царствования были учреждены около двадцати средних школ и ста начальных. Но это было образование для дворян, купцов и духовенства. На низшие же сословия просветительская политика императорских властей не распространялась, ибо образованный и культурный раб во сто крат опасней для рабовладельца, чем темный и необразованный мужик. Несмотря на все восторги перед естественными правами человека, высказываемыми ею в письмах и дневниках, Екатерина Великая была равнодушна и даже жестока к подвластному ей простому народу, от которого она только требовала труда и денег, но не давала взамен ни гражданских прав, ни защиты личности и собственности, ни образования, ни медицинского обслуживания.

Вплоть до 1861 года у русских крепостных барщина составляла не менее половины недели. В нарушение Павлова закона от 5 апреля 1797 года большинство помещиков принуждало крестьян работать кроме трех рабочих дней и в день воскресный после обедни. Далеко не редки были случаи и четырех с половиной дневной барщины, а то и пяти-шестидневной. Понятно, что истомленный таким трудналогом крестьянин был нищ, не имел ни средств, ни сил устраивать свой быт, свое жилище. А безграмотность и отсутствие досуга делали его неспособным к агротехническим новациям, умелому предпринимательству и к разумному самоуправлению. Между тем на барщине даже в 1850-е годы оставалось 96,1 процента

всех крепостных 9 западных губерний, 81,6 процента крепостных в 21 черноземной и восточной губернии, 43,2 процента – в 15 нечерноземных губерниях<sup>55</sup>.

Блеск и величие Империи созидался на нравственно порочном основании рабства и презрения к нуждам большей части российских подданных. Естественное для религиозного общества доверие к богоданной власти было использовано лишь как удобнейшее идеологическое средство для порабощения и ограбления православного народа. Такое основание не могло быть прочным.

Сохранилась служебная записка, составленная в 1841 году по указанию министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева его помощником А. П. Заблоцким-Десятовским. В результате инспекционной поездки по центральным губерниям России помощник министра был вынужден, в частности, констатировать: “Нечистота и теснота суть необходимые элементы крестьянского быта Зимой все соединяются в одну избу и спят вместе: женатые и холостые Нередко тут же посреди избы лежит отелившаяся корова с теленком, которых мужик ввел в избу для сбережения от стужи. Помещики, живущие в своих имениях, никогда не обращали внимания на эту сторону народной жизни, как и на все то, что не приносит им личной непосредственной выгоды. Примеров такого равнодушия есть множество. Часто встречаются великолепные усадьбы богатых помещиков, окруженные полуразрушенными лачугами. Нигде ни мысли, ни желания улучшения Помещик не входит в это, ибо ему нужен только работник и рабочая сила В голодные зимы положение крестьянина и его семьи ужасно. Он ест всякую гадость. Желуди, древесная кора, болотная трава, солома – все идет в пищу. При том ему не на что купить соли. Он почти отравляется являются страшные болезни У женщин пропадает молоко в груди, и грудные младенцы гибнут как мухи. Никто и не знает этого, потому что никто не посмеет писать или громко толковать об этом; да и многие ли заглядывают в лачуги крестьянина?”<sup>56</sup> Это описание быта крепостных поразительно сходно с тем, которое сделал за полвека до того А. Н. Радищев<sup>57</sup>.

“Часто помещик нарушает права супружеские не щадит целомудрия женского, и это нередко сносится крестьянами терпеливо...” – пишет Заблоцкий-Десятовский в другой работе<sup>58</sup>. О бесчинствах помещиков в этой сфере написано немало. Помещичьи гаремы были столь обычны, что некоторые господа не могли избавиться от этой привычки и после эмансипации, продолжая нанимать уже за деньги соседских крестьянок для сожительства. Распространены были и разнообразные извращения и преступления на половой почве, которые проходили для помещика безнаказанно. В том месте сочинения Радищева, где он повествует о помещике, убитом во время пугачевского бунта своими крестьянами за то, что “каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил, известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности”, сама Императрица написала – “едва ли не гистория Александра Васильевича Салтыкова”.

И вновь печальный вывод: “Ежели просвещение есть развитие понятий о достоинстве человека, то оно несовместимо с рабским состоянием лучше оставить его в скотообразном положении; тут он терпеливее несет ярмо. Это весьма хорошо понимают те, которые восстают против образования народа. Они не хотят расстаться с лестною для них властью над крепостными и потому боятся просвещать их”<sup>59</sup>. Даже у государственных крестьян, положение которых, по единодушному мнению и современников и историков, всегда было более благоприятным, чем у крестьян частновладельческих, в 1838 году было всего 60 школ с 1800 учениками. И это – на 17 миллионов государственных крестьян!<sup>60</sup>

Но закрепощенные люди, хотя их держали в безграмотности и религиозной необразованности, не забывали о своем человеческом достоинстве и не переставали желать свободы и восстановления попранных дворянами гражданских и имущественных прав их.

“При каждом новом царствовании, при каждом важном событии при дворе или в делах государства, издревле и

обыкновенно пробегает в народе весть о предстоящей перемене во внутреннем управлении и возбуждается мысль о свободе крестьян, – пишет Государю граф Бенкендорф Толки всегда одни и те же: царь хочет, да бояре противятся”<sup>61</sup>. Понятно, что в такой системе координат доверие народа к высшему сословию, его поработившему, совершенно исчезло, заменившись страхом и лукавством, а когда страх ослаб в результате либеральных реформ 1861 – 1906 годов, вспыхнул небывалый по размаху и жестокости бунт. Крестьянская война 1905 года, немедленное выдвижение в Первой Государственной думе вопроса о безвозмездном возвращении крестьянам помещичьих и казенных земель ясно показывают, что и через сто с лишним лет после кончины “матушки императрицы” русский мужик ничего не забыл и ничего не простил ей.

Любители Империи могут услаждать себя огромными территориальными приращениями екатерининского царствования, но и они должны понимать, что средства на бесконечные войны и на колонизацию казна получала, отчуждая весь прибавочный труд рабов. На этом же отчужденном продукте, на непостроенных школах и больницах, на жалких хижинах и примитивных орудиях рабов создавалась вся великолепная культура золотого века петербургской эпохи, ее дворцы и лицеи, дворянские гнезда и столичные театры, стихи Сумарокова и оды Державина. Владимир Набоков как-то цинично заметил, что без крепостного права не было бы и Пушкина. Не знаю, были же в России Блок и Ахматова, Пастернак и Георгий Иванов без всякого крепостного права. Но если действительно Пушкин бы не состоялся без его михайловских крепостных, то, быть может, пусть лучше не было бы Пушкина?

Можно ли страданиями одних покупать счастье других? Это – нравственный вопрос. И единственным ответом на него является однозначное нет. А доказательством верности этого ответа – несчастная судьба величайшей империи мира, воздвигнутой скорбными трудами белокожих православных эфиопов.

В знаменитом “Послании Совету Народных Депутатов” на первую годовщину Октябрьского переворота Святейший Патриарх Тихон обвинял большевиков: “Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния – убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями<sup>62</sup>”. Все здесь верно, но в сто крат виновней большевиков те, кто целенаправленно вверх русский народ в темноту и невежество за века своего правления. Большевики и другие революционеры только “вошли в труд их”. Россия никогда не была колонией, чьим-то внешним владением. Она всегда управлялась собственной национальной властью. Но эта национальная власть, к сожалению, слишком долго оставалась антинациональной, эгоистически эвдемонистской, думающей о собственном благе, а не о благе вверенного ей Провидением народа.

Тойнби назвал “бесчеловечным” “исключение из сферы эллинистического просвещения местного пролетариата (то есть рабов и плебс. – А. З.), который попросил хлеба, а ему дали камень”. “Данью, которую просвещенное эллинистическое правящее меньшинство заплатило за свою духовную замкнутость, стала утрата им своей моральной и материальной силы”<sup>63</sup>. То же произошло и с российским правящим меньшинством.

Ужасные, никак не простительные жестокости по отношению к представителям высших классов со стороны восставших мужиков, будь то Пугачевский бунт или обе революции начала XX века, могут быть объяснены не столько патологическим садизмом “черни”, сколько вековой ненавистью к поработителям и обманщикам, укравшим у народа волю и землю и совсем не спешившим возвратить их, несмотря на все красивые слова и смелые оды.

“Ясно, что этос этих обездоленных, обкраденных людей соткан из жестокости и ненависти. Они беспощадны к своим палачам, толкающим их на восстание, на проявление самых

низменных порывов и чувств. Вполне естественно, что жертвы беззаконий и произвола должны превзойти в жестокости своих притеснителей. В истории движения обществ к цивилизации не зафиксировано ни одного случая, чтобы во времена революции или войны не совершалось злодеяний... Можно утверждать, что при определенной степени напряженности отклонения от нормы, злодеяния совершаются даже в самых цивилизованных обществах современности. Во времена бедствий маска цивилизации срывается с примитивной физиономии человеческого большинства, тем не менее моральная ответственность за надломы цивилизаций лежит на совести их лидеров”<sup>64</sup>.

Вырвавшись из огня революционного пожара в Европу, старая графиня Клейнмихель с возмущением подводила итог запоздалой благотворительности: “Думаю, что вследствие того, что мы обратили наши виллы и дома в лазареты (во время Первой мировой войны. – А. З.), давно уже дремлющая в душах вооруженных мужиков зависть стала расти. Чувство благодарности отсутствовало у тех, которые нашли приют и уход во дворцах. Они сравнивали свои душные темные избы и хаты с хорошо проветренными, прекрасно освещенными, украшенными картинами и зеркалами залами. Когда им давали хорошую пищу, они вспоминали о своей жалкой деревенской еде и говорили себе: „Для того, чтобы господа могли так жить в своих дворцах, так хорошо есть, мы должны работать десять часов в день на фабриках и полях” Солдат, бывший еще в 1914 году, когда дисциплина еще не была подорвана, добродушным, скромным, терпеливым и послушным малым, стал постепенно требовательным, недовольным и непослушным. Когда началась революция, наши любимые, избалованные раненые в мгновение ока превратились в наших врагов, немедленно соединились с революционными бандами с тем, чтобы пойти грабить те дворцы, в которых им было так хорошо”<sup>65</sup>. Примечательно, что ни на мгновение ни великому Карамзину, ни светской львице Клейнмихель не приходило в голову, что “скромные и терпеливые малые” отнюдь не считали дворян законными владельцами земель и дворцов, построенных на

этих землях трудами тысяч и тысяч подневольных рабов, эту землю задаром обрабатывавших.

Нравственный расчет за преступления дворян, принявших из рук Петра и Екатерины несправедный дар – “тела и души человеческие”, – наступил в годы революции. Все богатства, собранные ими, были пожжены огнем, многие дворяне, часто лучшие, погибли, искупая своей кровью грехи предков, а сохранившие жизнь лишились отчизны, из которой их деды и прадеды не постыдились создать себе уютное поместье, поработив и обобрав своих братьев по крови и вере. Страшное пророчество Александра Радищева сбылось до деталей через 125 лет.

VI Если мы предположим, что мотивация поступка, в том числе и поступка политического, существенней для субъекта действия самого деяния, если мы вспомним евангельское: знающий волю господина своего и не делающий по воле его бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк. 12: 47 – 48), то тогда нам с прискорбием придется заключить, что Императрица Екатерина “бита будет много”. Она, талантливая дочь века Просвещения, прекрасно знала, что порабощение человека – тяжкое преступление. “Свобода – душа всех вещей; без тебя все мертво”, “Хочу повиновения законам, а не рабов”, “Власть без народного доверия ничего не значит” – такие мысли разбросаны по дневникам молодой Екатерины, еще великой княгини и супруги Цесаревича Петра Федоровича. Захватив престол, она продолжала размышлять подобным же образом. “Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного”, – писала она в “Наказе”. По поводу крепостнических мнений членов Законодательной Комиссии Императрица оставила замечание: “Если крепостного нельзя признать персоною (то есть личностью. – А. З.), следовательно, он не человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано”<sup>66</sup>. Итак, сторонники крепостного состояния названы Екатериной



“скотинами”. И это далеко не единичное суждение. В первоначальном тексте “Наказа” Законодательной комиссии, написанном Императрицей, есть немало мест, где осуждается если не само крепостное право, то его эксцессы, ясно высказывается намерение постепенно изжить “рабство”, вернуть крестьянам свободное гражданское состояние и с полной определенностью говорится, что прикрепление к земле не может соединяться с потерей личной гражданской свободы и правоспособности. С. Ф. Платонов приводит свидетельства того, что одновременно с Жалованной грамотой дворянству в 1785 году Императрица написала проект указа об объявлении свободными всех детей крепостных, рожденных после 1785 года.

Но проекты эти так и не стали законами, все критические замечания в отношении крепостного состояния были вымараны из “Наказа”. В Екатерине мы ясно видим то самое раздвоение души, которое, по мысли Тойнби, да и не его одного, раскалывает человеческое общество. Но почему же, ясно видя всю порочность крепостного права, Императрица, самодержавная правительница, не пошла на его отмену, а, напротив, усиливала гнет рабства и расширяла его границы в обществе?

Ответ несложен. Его дает С. Ф. Платонов и повторяют многие историки. Возведенная на трон дворянским заговором, сознававшая незаконность своего правления, осквернившаяся пролитием крови двух русских царей, неспособная, в силу отсутствия развитого религиозного чувства, к покаянию и в то же время безмерно властолюбивая, честолюбивая и сластолюбивая, Екатерина нигде не могла так ублажать свои страсти, как на троне величайшей Империи, а держаться на троне могла, только ублажая тот класс, который привел ее к власти. Дворянство же, как показывают челобитные служилых людей, начиная с первых лет царствования Романовых, однозначно желало полной власти над крестьянами и одновременно свободы для себя от службы царской. И именно Екатерина, и нравственно и юридически наиболее уязвимая из всех русских государей, решила удовлетворить сполна эти

алкания дворянства не из-за пусть ошибочно, но так понимаемого блага России, но исключительно ради собственного блага, принося ему в жертву благо Отечества и достоинство подданных. *Возможно ль, чтоб сама ты ныне*

Повергла в жертву злой судьбине

Тебя любящих чад твоих? –

спрашивал Императрицу в оде “На рабство” в 1783 году В. Капнист. Вопрос риторичен. И поэт не мог не знать этого. Но важно и иное. Если Петр I был эвдемонистом-государственником, жертвовавшим всем – и народом, и даже собой – ради фантома Государства Российского, то Екатерина была эвдемонисткой вполне эгоистической, лишь психологически компенсирующей государственными делами и успехами попечение о собственной власти, свободе и благополучии.

Честная и умная сподвижница Екатерины, княгиня Дашкова была увлечена идеей дворцового переворота и устранением Петра III, политику которого считала вредной для блага России. Но сколь разочарована и оскорблена была она в своих высоких мыслях, когда случай открыл ей, что для Государыни Екатерины переворот имеет совсем иную цель – свободу в отношениях с любовником Григорием Орловым при сохранении императорской короны, которую Петр III думал переложить с ее головы на голову одной из своих фавориток – то ли графини Елизаветы Воронцовой, то ли княгини Елены Куракиной, а Императрицу заточить в монастырь<sup>67</sup>.

Да, Екатерина пыталась многими реформами преобразовать жизнь страны, дать России мудрые законы, определить границы и права сословий, упорядочить местное управление. Но, странное дело, начинания ее, которым она отдавала так много сил, или вовсе не доводились до конца (Законодательная комиссия), или оказывались мертворожденными бумажными проектами (Городское уложение), или же вовсе наносили громадный вред (вольности дворянства). Подобно Борису Годунову, Екатерина пыталась оправдать незаконность своего царствования примерным монаршим трудолюбием и добрыми деяниями там, где они не

вредили устойчивости ее власти, но “помол дьявола весь уходит в труху” – воздвигаемое на нравственно порочном основании правление Екатерины принесло горькие плоды.

Сама же Императрица, психологически не выдерживая постоянных сделок с совестью, совесть свою методично выжигала цинизмом, ложью и грехом. Аббат Шапп д’Отерош опубликовал в 1768 году воспоминания о поездке в Сибирь, в которых весьма критически описал положение низших податных сословий. Ответ Екатерины был скор: “Мнимая нищета в России не существует. Русские крестьяне во сто раз счастливее и достаточнее, чем ваши французские; они знают, сколько и за что они платят, между тем у вас есть провинции, где крестьяне питаются каштанами и не знают даже числа всех повинностей”. Екатерина не могла не знать, что то, что она говорила, – ложь, но продолжала говорить эту неправду, предвосхищая практику советского агитпропа. В самый разгар пугачевского восстания, в 1773 году, Дидро спросил Екатерину о сущности отношений между рабовладельцами и рабами в России. Ответ и тут не замедлил: “Не существует никаких условий между владельцами и крестьянами, но каждый хозяин, имеющий здравый смысл, побережет свою корову, чтобы она лучше доилась. Когда нет закона, то в ту же самую минуту начинает действовать естественное право, и часто от этого порядки в делах идут не хуже, ибо тогда вещи текут сообразно существу своему и совершенно естественно”. А в это время крестьяне “сообразно существу своему” казнили лютой смертью всех попадавших им в руки дворян, да еще и с семьями.

Придравшись к нарушениям цензурных правил, Екатерина в 1791 году повелела сослать на десять лет А. Н. Радищева, а поля его “Путешествия” испещрила циничными ремарками. Там, где описывается душераздирающая и, увы, совершенно обычная для тогдашней действительности сцена продажи крепостных на аукционе, Императрица изволила написать: “Начинается прежалкая повесть о семье, проданной с молотка за долги господина”. В другом месте книги она отмечает: автор “едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у

хорошего помещика нет во всей вселенной”. В 1917 году Правда Божия подвела итог этому спору всемогущей Императрицы с запрещенным литератором.

Сделки с совестью, неизбежные для просвещенного рабовладельца, постепенно выедают из него душу. Ведь то, что произошло с восторженной и умной Ангальт-Цербстской принцессой, прилежной ученицей французских энциклопедистов, происходило и с большей частью правящего класса старой России. “Знакомясь со всеми фактами, имевшими место во второй половине XVIII века ясно видишь, как неограниченная власть над людьми развращает состоятельный материально, но бедный духовно класс дворян, как этот класс опускался в тину всяческой житейской грязи, как искажался в нем образ Божий, и все яснее и яснее вырисовывалась образаина звериная”, – говорил на лекции в Императорском Московском университете в 1915 году М. К. Любавский<sup>68</sup>. Качество европейской образованности дворянского сословия России все улучшалось, а источники его материального существования оставались теми же – труд единоверных и единоплеменных крепостных рабов. Напряжение этой нравственной коллизии, у кого на сознательном, у кого на подсознательном уровне, ощущалось сильнее и сильнее и разрешалось у одних охлаждением обличающей их совесть веры, у других – русским загулом, у третьих – революционным протестом и лишь у четвертых, у очень и очень немногих нравственных и сильных натур, – мужественной каждодневной работой по исправлению величайшей русской несправедливости. Духовно-интеллектуальные поиски конца XVIII – XIX века нельзя понять, не принимая во внимание этот постоянно усиливающийся нравственный гнет.

Вся история императорской России после Екатерины – последовательная череда попыток снять с государства бремя крепостничества, возложенное на него “великой” Императрицей. Надежды крестьян на личную свободу, на возвращение прав на свою землю и на собственный свой труд объективно реализовались в столыпинских реформах (указы от 5 октября и 9 ноября 1906 года и 14 июня 1910 года), но фактически

огромная энергия ненависти к поработителям и жажда справедливости стали главным двигателем страшной русской смуты, погубившей страну в XX веке. Старая Россия сломала себе шею, поскользнувшись на арбузной корке земельного вопроса. А сам земельный вопрос – результат бесчестной односторонней эмансипации дворян Екатериной.

Память о крепостном праве как о самом мрачном аспекте старой русской жизни хранится в народе. “Катэрына – вража маты, що ты наробыла. Стэп широкий, край веселый та й занастыла!” – поют украинцы. Известную аббревиатуру ВКП(б) после коллективизации любили расшифровывать как Второе Крепостное Право (большевиков). И до сих пор нет-нет, а сверкнет в споре о судьбах страны социальное происхождение предков: “Я – потомок крепостных и восстановления старой России не желаю, а ты, ратующий за правопреемство и реституцию собственности, верно, из господ”.

Могла ли принцесса Софья-Фредерика-Августа, став женой Императора Петра Федоровича, избрать иной путь, нежели прелюбодеяния, мужеубийство и все за ним последовавшее? Смешной вопрос. Даже при дурном супруге она могла оставаться верной женой и хорошей матерью. Даже опасность насильственного пострижения в монастырь не оправдывает учиненное ею убийство. И кто знает, не пойдя Екатерина на сделки с совестью, не попустил бы ей Бог править как законной регентше при малолетнем Государе Павле Петровиче, проявляя присущую ей энергию и мудрость к устройению русской жизни, а не к ее развращению и разрушению?

VII Тяжкое преступление, совершенное Екатериной при восшествии на престол, самым пагубным образом отразилось на ее отношениях с Богом. Правя глубоко религиозным народом, еще не забывшим о том идеале симфонии священства и царства, который Русь приняла вместе с православием из Царьграда, Екатерина изгнала Бога из своего сердца потому, видимо, что голос совести не совмещался с совершаемыми ею деяниями. Уличенный пророком Нафаном в прелюбодеянии и убийстве, библейский царь Давид глубоко раскаялся и плакал горько. Русская императрица предпочла

иной путь – путь дальнейшего унижения и разрушения Церкви, начатый Петром Великим. Аскетике прекрасно известна такая реакция грешника на святыню, она, если угодно, хрестоматийна. Поскольку грех обнаруживается священным законом, а закон обретает святость от Святого, грешник может или каяться перед Святыней, или злобиться на нее, желая ее унижением и истреблением убедить и себя и мир, что содеянное им вовсе не грех, а норма. Изъятие монастырских имуществ, запрещения на пострижение в монашество не инвалидов, превращение духовенства в касту, истощаемую к тому же разборами в низшие, податные сословия, – могло ли все это быть делом монарха “милостью Божией”, хранителя и защитника “Греко-российской православной церкви”?

“Она – вовсе не религиозна, – говорил о Екатерине Фридрих II Прусский, – но лишь прикидывается верующей”<sup>69</sup>. “Имеет ли она веру к закону Божию? – задает риторический вопрос князь М. Щербатов и продолжает: – Ибо если б сие имела, то бы самый закон Божий мог исправить ее сердце и направить стопы ее на путь истины. Но несть, упоенна безразмысленным чтением новых писателей. Закон христианский (хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает И так можно сказать, что в царствование ее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала”<sup>70</sup>.

То, что видел князь Щербатов, в той или иной степени замечали все – и знатные и простые, и духовные и светские. Императрица старалась своим внешним поведением следовать правилам православной Государыни – говела, причащалась вместе со двором, ходила пешком на богомолья из Москвы к преп. Сергию в Лавру, неуклонно присутствовала на долгих церковных службах. Но лицемерное благочестие Императрицы не созидало, но развращало народ, приучало и подданных к лицемерию, к показному благочестию “по долгу службы” и в конечном счете способствовало эрозии веры сначала в высших, а потом и в низших сословиях. Без веры же священная русская монархия устоять никак не могла...

Однако Екатерина II не ограничивалась только религиозным лицедейством. Несмотря на то что некоторые архиереи были в

числе первых, приветствовавших захват ею трона (например, Димитрий, митрополит Новгородский), она твердо решила довести до конца дело об отобрании в государственную казну церковных имуществ, начатое Петром I и достигшее кульминации при Петре III в указе от 21 марта 1762 года. И Екатерина, и убитый ею ее царственный супруг при проведении секуляризации руководствовались одним и тем же простым мотивом, хорошо известным просвещенному XVIII веку. Тот, кто имеет независимые источники дохода, свободен в своих поступках. Сама по себе гражданская свобода, ограниченная законом абсолютного монарха, не казалась веку Просвещения опасной. Европейские монархии не были деспотиями – свободную инициативу подданных в рамках закона весьма ценили и сами венценосцы, и теоретики государственного права. Но Церковь – особая сфера. Церковь – это совесть. Ее долг – заботиться не о собственном земном благополучии, а об абсолютной Божественной правде. Ее аксиология сотерична и другой быть не может без извращения самой природы Церкви как Тела Христова, “столпа и утверждения истины” (1Тим. 3:15).

Важнейшая обязанность священноначалия, его пророческая миссия – обличение неправды пред Богом тех, кто является “помазанником Божиим”, монархом “милостью Божией”, считает себя защитником, а то и “главой Церкви” (так именovala себя Екатерина в письмах к Вольтеру, и таковой статус утвердил за российскими самодержцами Павел в Акте о наследии престола 5 апреля 1797 года). И Петр Федорович, и Екатерина Алексеевна вполне сознавали, что жизнь их далека от христианских заповедей. Как и все нераскаявшиеся грешники, они инстинктивно боялись обличений, а как политики (здесь Екатерина намного превосходила своего недалекого супруга) прекрасно понимали, что Церковь имеет против них страшное оружие народного благочестия, которым может лишить их и власти, и самой жизни при неблагоприятных обстоятельствах.

По древнему византийскому принципу симфонии царь властен только над телом своих подданных, но не над их душами, которые, как и душа самого царя, пребывают во власти Христа – “Царя царствующих” и Его Церкви. Неверующий,

неблагочестивый монарх не может вынести такого опасного умаления своей власти и, не имея возможности обессилить Христа, старается лишить Церковь свободы и силы. В то же время, в отличие от богоборческих режимов XX века, традиционный монарх не может бороться с верой самой по себе, ибо, искореняя веру, он уничтожает и все основания законности собственной власти, делигитимизирует сам монархический принцип. Поэтому вольнодумный и грешный монарх пытается делать невозможное – он одной рукой ослабляет Церковь, дабы она не становилась обличителем его неправд перед Богом, а другой – пытается укреплять веру народа, на которой только и зиждется его власть. Эксперимент этот быстро переходит в неуправляемый процесс разрушения народного благочестия и рано или поздно завершается страшной государственной катастрофой, механизм которой хорошо показал британский мыслитель Кристофер Доусон в своей книге “Боги революции”:

“В то время как придворные Екатерины II или Иосифа II (Австрийского Императора, современника Екатерины. – А. З.) читали последние книги из Парижа и усваивали модный рационализм космополитического общества, их крепостные крестьяне все еще жили в мире Католицизма эпохи барокко или же византийского Православия. И отсюда в обществе развивался духовный раскол, который содержал в себе семена классового конфликта и социальной революции. При старых христианских порядках дворяне и крестьяне разделяли общую веру и несли общую службу. Но теперь, когда христианство рассматривалось в качестве единственного блага для низших классов, как неоднократно повторял Вольтер, духовные основания общественного единства были разрушены И с утратой этой традиции из ancien régime ушла душа, оставив лишь пустую оболочку”<sup>71</sup>.

Такой “отрицательный мимесис” может быть компенсирован только исповедническим подвигом священноначалия, которое, бесстрашно противостоя духовным неправдам светской власти, становится для народа новым объектом положительного подражания вместо развращенного “помазанника” и его



ближайших слуг. Если же официальная церковь, утопая в сервильности, не принимает на себя этот подвиг, народ обращается к иным пророкам и отдает им свою душу. Так, говоря в категориях Тойнби, “внутренний пролетариат” создает новую “вселенскую церковь”, которой в русском случае в конце концов оказался атеистический большевизм.

Но вернемся в Век Екатерины. Императрица с первых же дней своего царствования последовательно претворяет в жизнь дело убитого супруга. Указом от 26 февраля 1764 года она отбирает все церковные имущества в казну (это почти миллион крепостных крестьян в одной Великороссии). Примерно одну восьмую доходов с бывших монастырских имуществ Государыня отдает на содержание Церкви, но теперь это государственная пенсия, выплачиваемая казначейством по штатам, утвержденным опять же государственной властью. Потеряв независимые источники материального существования, Русская Церковь попадает в полную зависимость от светской власти. Процесс превращения Православной Российской Церкви в государственное ведомство по делам православного исповедания, начатый реформами Петра I, завершается Екатериной.

Сама Императрица объясняла свою церковную политику желанием покончить с неподобающей роскошью, в которой жили архиереи и крупнейшие монастыри. В 1763 году тридцатичетырехлетняя Екатерина собиралась обратиться к Синоду со следующими словами: “Каким образом может происходить то, что вы не поражены огромностью тех богатств, которыми вы владеете и которые делают вас настолько могущественными, что вы должны бы почувствовать, что ваше такое положение совершенно противно духу вашего призвания. Разве вы не наследники апостолов, которым Бог заповедовал проповедовать презрение к богатствам и которые могли бы быть только бедняками – царство их было не от мира сего. Вы соглашаетесь со мной?.. Как смее вы без угрызания совести пользоваться такими имуществами и поместьями, которые дают вам могущество, как царям? Ах! Разве вы не имеете под своей

властию рабов больше, чем некоторые европейские государи имеют подданных?”<sup>72</sup>

Обратим внимание на характерные проговорки о власти и богатстве церковном, подобном царскому и потому соперничающем с ним. Ликвидация такого положения – истинная цель указа 1764 года. Но и роскошь архиерейской жизни, нарушающие все нормы монашеского устава дорогостоящие утехы иноков лавр, крупнейших монастырей и архиерейских домов, проживавших на себя тяжкие труды тысяч единовверных им “рабов”, – увы, совершеннейшая правда. Если бы Екатерина отменила крепостное право как таковое, освободив и монастырских и частновладельческих крестьян, источник злоупотреблений исчез бы сам собой. Живя на добровольные пожертвования и на доходы с имуществ и трудов самих иноков, Церковь морально очистилась бы от постыдного богатства, сохранив свободу от светской власти. Это, однако, не входило в интересы царицы. Церковь, как и совесть народная, нужна была ей не свободная, но всецело зависимая от воли Государя. И здесь проявилось в полноте господство эвдемонического идеала в умах российского правящего слоя – жизнь во Христе есть не цель, но только средство для национальной консолидации и имперского могущества, олицетворяемых Императором. Когда Император Павел повелел начертать девизом своего царствования библейское “Не нам Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...” (Пс. 113:9), он восстанавливал в русской государственной жизни иерархию земного и небесного, извращенную его царственной матерью.

Оказавшись “за штатом”, быстро захирели и закрылись 754 из 954 монастырей Великороссии. Большею частью это были маленькие сельские обители с немногими монашествующими. Они кормились от трудов своих крестьян. Когда крестьяне были отобраны, источник доходов исчез. Если бы все крестьяне были эмансипированы, то они имели бы средства пусть на скудные, но пожертвования продовольствием, трудом, а то и деньгами. Но, пребывая сами в крепостной зависимости, много ли могли пожертвовать они монахам на “исправление службы”?

“Теперь, в отдалении полутора столетия почти лет, можно спокойно обсудить эту меру, – подводит итог православный историк в начале XX столетия. – Она дала государству по 3 миллиона в год дохода, но громадная часть монастырских имений роздана Екатериною в дар своим фаворитам, так что в конце концов государство получило от отобрания их недолгую пользу. Было обещано при отобрании имений обеспечить духовные школы и духовенство, но это обещание было забыто. Между тем с нравственной точки зрения эта смелая мера не выдерживает критики.

Здесь было нарушено право собственности и воля тех отдельных лиц, из пожертвований которых сложились церковные имущества. Все эти имения были оставляемы большей частью по духовным (завещаниям. – А. З.), на помин души в излюбленном жертвователем монастыре; и эта последняя воля умирающих не подлежала никакому изменению. Между тем не только эти усердные жертвы церкви были отобраны для целей мира, но и самый помин души не мог более продолжаться, за упразднением самих обителей

До сих пор нельзя без чувства величайшей скорби вспомнить об уничтожении 4/5 русских монастырей. Запустили места, освященные подвигами и благодатью святых, ознаменованные стремлением к ним усердия народного И много есть мест, где в бедной приходской церкви, даже иногда бесприходной, покоятся мощи великого угодника, создавшего обитель, которая на просвещение и утешение народа стояла века и упразднена в злосчастный 1764 год”<sup>73</sup>.

Как и повсюду в религиозном обществе, даже не обязательно христианском, сельский монастырь имел на Руси громадное значение для воспитания окружающего населения. Монахи были единственными учителями, а часто и врачами для окрестных крестьян. И грамотность, и благочестие, и физическое здоровье подавались иноками обителей социально очень близким им земледельцам. Иноческие обеты человек принимал добровольно (о политических пострижениях мы не говорим сейчас), и принятие их всегда означало личный подвиг, а потому и сознательное служение Богу и ближнему. Сонм местночтимых

народом святых – лучшее тому свидетельство. При всех несовершенствах своих насельников монастырь являлся как бы средоточием совести и души поселян, лучшей частью их коллективной личности. При разумном развитии начал народной образованности через маленькие сельские обители до крестьян могло бы начать доходить книжное образование, начала школьного знания, даже современные навыки землепользования. За век до земской школы могла быть создана школа монастырская, а кое-где она и существовала уже. И тогда образование не стало бы в России плодом секуляризации, но осталось бы в лоне Церкви. Разрушив сельские монастыри, поставив на государственный кошт оставшиеся, запретив без Высочайшего разрешения открывать новые, Екатерина способствовала религиозной деградации народа, его нравственному одичанию.

Законы, которыми Императоры управляли Русской Церковью в XVIII столетии, были таковы, что уже в царствование Николая Павловича их не решались публиковать “ввиду „неблаговидности” слишком многих постановлений Петровского времени и всего предыдущего (то есть XVIII. – А. З.) века, огласка которых теперь вряд ли вполне удобна и скорее может соблазнить”, – объяснял обер-прокурор Синода граф Н. А. Протасов. Именно поэтому уже подготовленное проф. А. Куницыным “Полное собрание духовных узаконений в России со времени учреждения Свят. Синода” было остановлено в рукописи без движения, и даже “Духовный Регламент” Феофана Прокоповича не разрешали переиздавать в первой половине XIX столетия<sup>74</sup>, хотя вся синодальная система имела его своим источником. Это, наверное, лучший приговор церковной политике Православных Русских Самодержцев “осьмнадцатого века”.

Церковь, уже приниженная Петром, обезглавленная упразднением Патриаршества, склонилась перед требованиями Императрицы. Но покорность не была всеобщей. Один из виднейших русских архиереев, митрополит Ростовский Арсений Мациевич (1697 – 1772), твердо и решительно выступил против отобрания имуществ у Русской Церкви. Митрополит Арсений

прославился уже при Елизавете Петровне тем, что отказался приносить присягу царице как “крайнему судии” Синода, вполне канонично полагая, что крайним судьей Церкви является ее глава – Богочеловек Иисус Христос, а отнюдь не земной монарх. Набожная Государыня простила эту “предерзость” митрополиту и продолжала его ценить и любить. Видимо, именно Арсений убедил Елизавету Петровну не отбирать земли у Церкви, чего добивались алчные аристократы, смотревшие на западноевропейскую секуляризацию и жаждавшие умножения за счет Церкви своих вотчин. “Как хотят пусть делают после моей смерти, а я не подпишу”, – объявила Елизавета Петровна в отношении проекта указа о секуляризации, подготовленного графом А. П. Бестужевым.

Сам будучи человеком очень скромным, жизни почти аскетической, митрополит Ростовский твердо отстаивал незыблемость церковных владений и перед Екатериной. Молодая Императрица панически боялась и люто ненавидела Арсения. Известно, что ей доносили и об отзывах митрополита на личную ее жизнь. За свои обличительные письма, за свою твердую позицию против отобрания в казну церковных имений Арсений был сначала извергнут из сана, заточен в Корельский Северо-Двинский монастырь, а позднее расстрижен по повелению Императрицы из монашества и запрятан в каменный мешок Ревельской крепости под именем Андрея Враля. Здесь в тяжких лишениях закончил он свою жизнь 28 февраля 1772 года.

Народ еще при жизни почитал святителя Арсения святым, что прекрасно известно было Императрице. Коменданту Ревельской крепости фон Тизенгаузену она писала: “У вас в крепкой клетке есть важная птичка. Береги, чтоб не улетела! Надеюсь, что не подведете себя под большой ответ. Народ очень почитает его исстари и привык его считать святым”. Смерть митрополита Арсения только усилила его почитание, которое продолжалось скрыто до самого конца петербургской Империи. Собор 1917 – 1918 годов признал все решения Синода екатерининского времени против Арсения неправильными и отменил их. В августе 2000 года архиерейский

Собор Русской Церкви объявил о канонизации митрополита Арсения Мациевича как “священномученика” и сравнил его подвиг с подвигом русских архиереев XX века, отстаивавших независимость и достоинство Церкви Христовой перед лицом советской власти<sup>75</sup>. Установление связи между событиями эпохи Екатерины II и десятилетиями коммунистических гонений – совсем не произвольный домысел Собора: в XVIII веке были посеяны те семена, урожай которых был пожат в XX.

### VIII

Процессы установления внешнего государственного контроля над Церковью, секуляризации церковных имуществ и одновременное обмирщение самой Церкви характерны были для всей христианской Европы XVII – XVIII веков. “Благодаря тесному альянсу с государством Церковь оказалась крайне уязвимой для любой атаки сверху (то есть со стороны верховной государственной власти. – А. З.). Следовательно, замена католического абсолютизма периода барокко просвещенным деспотизмом Иосифа II, Шуазёля и Карла III в Испании лишила церковь ее традиционных методов социального действия и нейтрализовала ее активность на протяжении двух поколений. Созрела ситуация для появления новой духовной силы, которая смогла бы заполнить пустоту, образовавшуюся по причине временного упадка деятельности католиков, и дала бы выход религиозным инстинктам, не находившим удовлетворения в рациональной культуре Просвещения. Ибо Просвещение привело в порядок и украсило западное сознание, при этом ничем не заменив разрушенную им религию”, – писал о католических обществах XVIII века Кристофер Доусон<sup>76</sup>.

Характеристику этого печального процесса разрушения Церкви и как следствие народной веры Жозеф де Местр вложил в уста русского участника его “Санкт-Петербургских вечеров”: “Какое зрелище открывается верующему взору у нас в Европе? Во всех странах, подчинившихся безумной реформе XVI века (Реформации. – А. З.), христианство совершенно уничтожено, – и даже в ваших католических государствах от него осталось одно лишь название! Свою церковь я не намерен

ставить выше церкви вашей, ведь собрались мы здесь не для препирательств. Увы! Мне прекрасно известны и наши недостатки, но прошу вас, друзья, исследуйте самих себя с таким же нелицеприятием: сколько ненависти на одной стороне, какое невероятное равнодушие к религии и всему, что к ней относится, – на другой! Сколь неистовы озлобление и ярость католических держав против главы вашей, католической, церкви! До какого бедственного состояния доведено у вас духовное сословие общими усилиями ваших государей! Общественное мнение, то ли вдохновляющее их, то ли следующее их примеру, целиком обращено против этого сословия. Это – заговор, это – род бешенства. Взгляните на эту скорбную картину, прибавьте к ней ожидания избранных, и вам станет ясно, заблуждаются ли иллюминаты, полагая более или менее близким третье излияние Всемогущей Благости ради рода человеческого”<sup>77</sup>.

И действительно, Россия практически не отставала в этом от католических и протестантских сообществ. Возвышение и падение Никона, Раскол, петровские церковные преобразования, религиозная политика екатерининского царствования типологически достаточно сходны с синхронными процессами в Центральной и Западной Европе. Сходна и реакция общества на эти процессы. Использование светской властью Церкви для достижения внешних, вполне эвдемонических целей (расширение границ, приумножение богатств и военной мощи, контроль над обществом и т. п.) приводит к потере сотериического идеала у одних христиан и к поискам духовного совершенствования уже не на церковных путях – у других.

Первые вместе с Вольтером призывают “раздавить гадину”, поскольку не видят в ней ничего, кроме лжи и лицемерия, а заодно с “гадиной” и все то, что Церковью освящалось и на Церкви зиждилось, – по сути, весь общественный уклад старой христианской Европы от института монархии до сословного представительства и цеховой организации производства. Это сторонники идей Просвещения, обретшие своего высшего апостола в Руссо (после его “обращения” 1749 года), а

организатора – в немце Адаме Вейсгаупте, присвоившем своему мистико-политическому сообществу, созданному в 1776 году, имя “Общество иллюминатов”.

Вторые ищут нравственного совершенства, и личного и общественного, а также вожденного духовного знания, то есть всего того, что в принципе должна давать Церковь, но чего она дать уже не может (или кажется, что не может), склонившись под ярем просвещенного абсолютизма и сочетавшись с ним. Это франкмасоны и розенкрейцеры, различные масонские направления от почти развлекательных светских клубов до весьма глубокомысленных, сложноиерархических лож, серьезно изучающих теософию, алхимию, христианское и герметическое богословие. Некоторые из них также именовали себя иллюминатами, но при этом стремились не покончить с тронem и алтарем, но возродить их былую духовную значимость, забытую и царями, и священниками, и простым народом.

Новые идеи – как мистико-политического иллюминатства, так и религиозного масонства – не могли совместиться ни с одной традиционной общественной группой европейского общества. Они рассекли всю просвещенную его часть и собрали своих приверженцев и из рыцарства-дворянства, и из бюргерства, и из духовенства. Поскольку абсолютная монархия предшествовавшего столетия (вторая половина XVI – XVII век) разрушила сложное плетение ткани средневекового гражданского общества и с подозрением относилась к любым общественным организациям, неподконтрольным государственной бюрократии, новые организации являлись тайными, тем более что некоторые из них были всецело враждебны существовавшему порядку. В формальную общественную структуру они никак не вписывались, а в политической жизни рассматривались властью, и церковной и светской, как более или менее опасные соперники их абсолютного авторитета. Впрочем, довольно часто масоны, а несколько позже и иллюминаты приходили в тех или иных странах Европы к власти. Масоны обретали власть обычно вполне мирно, хотя часто и не без политической интриги, возводя на престол своих претендентов, таких, как король



Швеции Густав III, короли Пруссии Фридрих II и Фридрих-Вильгельм II, герцог Брауншвейгский Фердинанд. Задачей масонов было просвещение и преобразование общества на началах “истинного внутреннего христианства” и гражданской справедливости, противостояние как безбожному Просвещению, так и чисто внешнему, формальному церковному и монархическому порядку, забывшему о своих религиозных целях и призвании. Иллюминаты же Вейсгаупта стремились, в соответствии со своей тайной доктриной, разрушить существовавший церковно-монархический строй “до основания”, а не исцелить его и на руинах старого мира построить новое, вполне рациональное республиканское деистическое сообщество, свободное от социальной несправедливости и пороков искусственной христианской цивилизации.

И масонские ложи, и тайные общества иллюминатов, порой принимавшие внешний облик масонских организаций, имели интернациональный характер. Они не только обменивались информацией и обеспечивали своим членам поддержку по всему миру, но и обладали более или менее жесткими властными структурами, которые обязывали национальные организации подчиняться наднациональным высшим органам тайных обществ и орденов. “Каждый капитул, который существует или будет существовать на всем пространстве Империи Всея России, обязан во всем и без замедления повиноваться Директории, представлять ей точные донесения о своем состоянии, о способе своих работ, о своих экономических делах, о производимых ими принятиях и о том, как они исполняют приказания Директории или Великого Мастера...”, – гласила, например, инструкция, изданная в 1777 году для русских масонов герцогом Зюдерманландским, братом шведского короля и Великим Мастером шведской линии розенкрейцеров<sup>78</sup>. Именно большая подчиненность и финансовая зависимость русского розенкрейцерства от прусского вызвала в конце 1780-х годов недовольство Екатерины и привела к репрессиям против Новикова и его “братьев”<sup>79</sup>.

Существенные отличия России от Западной Европы, пожалуй, были в том, что, во-первых, отбросив с начала XVIII столетия русско-византийское культурное наследие, русское общество обрело “плоды Просвещения” как экзотические и чужие. Не оно выращивало их, и потому у него не было никакого иммунитета против них. Православная Церковь не воспринимала их как свое родное болезненное извращение, которое именно потому, что оно родное, можно и нужно лечить (как считали, скажем, во Франции епископ Жак Боссюэ или архиепископ Франсуа де ла Мотт Фенелон), но как что-то всецело чуждое, от которого можно просто отгородиться. Именно так пережили Просвещение старообрядцы и наиболее ортодоксальные православные. С тех пор и до сего дня изоляционизм считается лучшей терапией в этой среде русских христиан.

Во-вторых, Православие в России оставалось глубоко провинциальным в век Просвещения. Если духовные центры католического и протестантского мира практически совмещались с центрами антиклерикальных настроений и потому соперники были сравнимы по силе мысли и слова – “Фенелон в это время был популярен не меньше самого Вольтера”<sup>80</sup>, – то духовное образование и христианская культура России, и никогда не бывшие сильными, окончательно деградировали в результате Смуты, Раскола и светских преобразований первой половины XVIII века. Если в Византии против монофелитов выступил великий Максим Исповедник, против варлаамитов – глубокомысленный Григорий Палама, против неоязычника Плифона и унианистов – Эфесский митрополит Марк Евгеник, то в качестве оппонентов Вольтеру и Руссо в русской Церкви не обрелся по большому счету никто. После “Камня веры” Стефана Яворского и до горячечных обличений Библейского общества Юрьевским архимандритом Фотием Церковь и интеллектуальная жизнь существовали как бы в “параллельных мирах”, почти не касаясь друг друга.

И наконец, в-третьих, русское Православие не имело ни жесткой политической и интеллектуальной собственной организации, какой располагал католический мир, ни тех

навыков индивидуальной религиозной ответственности, на которых зиждился протестантизм. Полагаясь почти всецело на “своего” православного царя как на “защитника веры”, Русская Церковь оказалась заложницей светского просвещенческого абсолютизма Петра и Екатерины. Характерный пример: желая оправдать свое клятвопреступление перед сыном Алексеем, Петр I собрал архиереев и спросил их, позволительно ли нарушить данное царевичу слово о неприкосновенности и лишить его жизни. Прекрасно знали наследники апостола Петра древние священные слова: “Не клянись именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего” (Лев. 19:12), но изрекли царю нечто совершенно иное: “Сердце царево в руцех Божия есть. Да избрет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет”. Этому удобному принципу и следовала почти весь Петербургский период Российская Православная Церковь. И если последний досинодальный патриарх Адриан, местоблюститель Стефан Яворский или тверской архиерей Феофилакт Лопатинский еще решались противостоять Петру и Анне Иоанновне, то после расправы руками русских архиереев над святителем Арсением Мациевичем Церковь Русская окончательно замолкла перед лицом царской власти. Исповеднический подвиг она нести не захотела и не смогла.

И вот результат: “Церковь определенно утратила свое положение главного источника культурной жизни. В XVIII веке аристократия и чиновные классы русского общества получали образование в духе французского Просвещения. Они увлекались Вольтером и по-настоящему Церковь не уважали. Для большей части низших классов Церковь также потеряла свое первоначальное значение. Последователи Раскола отвернулись от нее. Следовательно, Православная Церковь в XVIII столетии потеряла поддержку большей части благородных классов и значительной части классов торговцев и крестьян”<sup>81</sup>.

По большому счету это отношение русского народа к Православию сохранялось вплоть до катастрофы 1917 года и явилось ее духовной причиной и объяснением. До некоторой степени свидетельством этому могут быть результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в ноябре – декабре

1917 года. За православные партии по всей России было подано, по подсчетам Оливера Радкея, 155 тысяч голосов. Еще 54 тысячи голосов было подано за партии старообрядцев и 18 тысяч – за иные христианские политические движения. То есть в обстоятельствах крайнего не только политического, но и нравственного антагонизма христианские партии привлекли менее полупроцента российского электората<sup>82</sup>. На фоне трех четвертей голосов, поданных за антирелигиозные революционные партии эсдеков и эсеров, столь слабая поддержка христианских ценностей предвещала лихие времена, и они не замедлили прийти.

Этот процесс духовной дехристианизации в XVIII – XIX веках опять же не был специфически русским. Глядя из 1952 года назад, во всеевропейское безумие первой половины XX века, А. Тойнби отмечал, что “чудовищное рождение современной западной секулярной цивилизации из утробы средневекового западного христианского мира стало возможным благодаря ошибкам и грехам средневековой западной Церкви, практически воплотившись через ренессанс эллинского института “абсолютного государства”, в котором религия стала одним из ведомств политики”<sup>83</sup>.

И в России настроение свободной религиозной ответственности начинает формироваться к середине XVIII века не в Православной Церкви, но вне ее – в масонстве, старообрядчестве и сектантстве. И это в конечном счете имело самые пагубные последствия для духовного здоровья народа. “Масонство, увлекая своим идеализмом и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением внецерковной религиозности, свободной от всякого церковного авторитета, – точно констатирует о. Василий Зеньковский и объясняет: – С одной стороны, масонство уводило от „вольтерьянства”, а с другой стороны – от Церкви; именно поэтому масонство на Руси служило основному процессу секуляризации, происходившему в XVIII веке в России”<sup>84</sup>.

“Масонство проникло в Россию очень скоро после того, как вылилось в определенные формы и на Западе”, то есть на грани XVII и XVIII веков, отмечает Г. В. Вернадский<sup>85</sup>. Во второй

половине XVIII века масонство в России становится весьма разветвленной и влиятельной организацией. К масонам был близок Петр III, и скорее всего входил в ложу цесаревич Павел Петрович. Нам практически ничего не известно об организациях иллюминатов в Екатерининской России, но деятельность и идеи франкмасонов и розенкрейцеров изучены весьма тщательно<sup>86</sup>.

Все серьезные историки сходятся в том, что значение масонства для России той эпохи огромно: “Во вторую половину века начинается духовное пробуждение. Это было пробуждение от тяжелого духовного обморока. Вся историческая значительность русского масонства была в том, что это была психологическая аскеза и собирание души. В масонстве русская душа возвращается к себе из Петербургского инобытия и рассеяния... Это был не только эпизод, но этап в истории нового русского общества. К концу семидесятых годов масонское движение охватывает почти что весь тогдашний культурный слой, – система масонских лож своими побегими насквозь прорастает его и в этой „аскезе” воспитывался новый тип человека. Это было сентиментальное воспитание русского общества, – пробуждение сердца. В масонстве впервые будущий русский интеллигент опознает свою разорванность, раздвоенность своего бытия и начинает томиться о цельности и тянуться к ней”<sup>87</sup>. О том, что именно в среде масонства впервые сложилось в России независимое общественное мнение, не раз говорит на страницах своей диссертации и Г. В. Вернадский<sup>88</sup>.

И наконец, взгляд со стороны. Современный британский историк Екатерининского времени Исабель де Мадариага отмечает: “Наверно, нигде в Европе масонство не сыграло такой большой роли в развитии культурной жизни на протяжении целых трех, а то и четырех поколений, как в России. Может быть, в этом сказались относительная бедность и неоригинальность русской культуры XVIII столетия, по сути дела заимствованной. Возможно также, что в этом отразилось отсутствие православных богословских и пиетистских сочинений, написанных доступным мирянину языком и стилем, которые бы обладали достаточной научной строгостью или

эмоциональной глубиной, чтобы удовлетворить взыскательного читателя”<sup>89</sup>.

Для будущего духовного развития России масонство Екатерининской эпохи имело первостепенное значение. Культурная и почти исключительно светская элита России (участие клириков в масонских обществах было единичным) обрела ответы на свои духовные запросы и устремления не в Православной Церкви и не в какой-либо Церкви инославной, но вне Церкви как таковой, на путях свободного мистического странствования. Нравственное и духовное разошлось с церковным, и разошлось очень далеко. Церковь, интеллектуально и духовно обескровленная Расколом и петровскими реформами, как институт превратилась в организацию ритуальных действий, во всем послушную светской власти. Она, казалось, усыхала и умирала. Жаждавшие живой духовной жизни или присоединялись к раскольникам и сектантам, или вступали в масонские ложи.

“Как христианство осталось токмо в устах наших, а язычество овладело сердцем нашим и как наружное богослужение наше не сильно было сокрушать идолов самолюбия и собственности, погружающих нас во все пороки страсти темпераментов наших, – объяснял, например, орловским „братьям” З. Я. Карнеев, – то погибли бы мы в сем положении, ежели бы милосердствующая благодать Божия о нас не предоставила нам и еще третьего и последнего средства к избавлению нашему, сокровенного под непроницаемою в мире тайною св. Ордена”<sup>90</sup>. Автор весьма популярной в конце XVIII века книги “О внутренней Церкви” знаменитый московский розенкрейцер И. В. Лопухин ощущал институциональную Православную Церковь как “отживающее учреждение” перед наступлением эры нового, экуменического христианства.

Не Церковь, утратившая в XVIII веке и силу, и нравственный авторитет в обществе, но внецерковные сообщества религиозно настроенных людей предлагали варианты выхода из того духовного и социального тупика, который ими ощущался совершенно явственно в царствование Екатерины. В народе росли сектантские настроения, и

крестьянские восстания питались именно этими идеями – старообрядческая духовная подоснова Пугачевского бунта хорошо известна. Именно в первое столетие Петербургского периода широко распространились секты духоборов, хлыстов, молокан, появилось скопчество, русские крестьяне начали интересоваться верой немецких колонистов, приезжавших в Россию по приглашению Екатерины. Вместе с отходом от официального Православия низшие классы утрачивали, как правило, и священный трепет перед царской властью. Многим старообрядцам уже царь Алексей Михайлович, а тем более Петр Алексеевич и его преемники виделись воплощением антихриста, для сектантов царь представал не помазанником Божиим, а гонителем и узурпатором, новым фараоном, которого приходилось терпеть, но не было никаких оснований любить и почитать. В среде сектантов и старообрядцев широко была распространена грамотность, изучение Писания, строгие нравственные нормы трудовой и семейной жизни (отвергающие брак оргиастические секты хлыстов и скопцов являются здесь исключением). Те же простолюдины, которые не уходили из православия, сравнительно редко оставались серьезно и истово верующими. Они, как правило, жили чисто формальной церковной жизнью, в этой среде широко был распространен примитивный магизм, колдовство, пьянство, непрочность семейных устоев. Фактически в XVIII веке Церковь утратила влияние в обоих сообществах простого народа – и среди “алчущих и жаждущих правды”, и среди “теплохладных”.

Среди высших сословий религиозно активные люди шли в масонство, а не имевшие “нерва веры” становились вольтерьянцами, руссоистами, иллюминатами, а чаще всего – примитивными гедонистами, обычными прожигателями жизни, ловцами орденов и поместий. Церковь и церковность мало что значили для всех этих групп высшего класса.

В масонской среде и в обществах иллюминатов создавались проекты общественных и политических преобразований, осуществлялась широкая просветительская, издательская, филантропическая деятельность. Многие важные идеи Александрова царствования теоретически были

проработаны и обсуждены именно в масонской среде в 1770 – 1790-е годы. Это и учение о союзе христианских государей – проект будущего Священного Союза<sup>91</sup>, и военные поселения<sup>92</sup>, и смягчение крепостного гнета, и обязательное духовное и гражданское просвещение крестьян<sup>93</sup>.

Исследователи, однако, единодушны в том, что идеи эмансипации крепостных и введения демократических учреждений были чужды русскому масонству Екатерининского времени. “Люди, подверженные теперь нашей власти, должны для их собственной пользы и выгоды быть в таком же положении”, – говорил известный масон О. А. Поздеев в 1785 году в рязанской ложе Орфея<sup>94</sup>, и даже знаменитый Новиков не брезговал приторговывать крепостными<sup>95</sup>. Исключением и здесь был А. Н. Радищев – увлеченный идеями Сен-Мартена, он нашел в себе силы и смелость додумать их до конца, пусть и в ущерб себе и своему сословию.

Русские масоны большей частью горячо поддерживали и монархическую автократию. Восстание Пугачева и Французская революция их страшно напугали. В 1794 году И. В. Лопухин издал даже специальное сочинение “Излияние сердца, чтущаго благость единоначалия и ужасающагося, взирая на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы”. Впрочем, священноначалие русской Церкви еще менее масонов было склонно ратовать за освобождение крепостных и введение законно-свободных установлений.

Абсолютистское государство повсюду не желало, чтобы кто-то со стороны дерзал претендовать на то, чтобы быть его совестью. Церковь, и католическая, и протестантская, и православная, везде лишена была этого права, столь естественного для христианского сознания. Но одно дело – воля просвещенческих монархов, а другое – воля самой Церкви и мнение народа. Католическая Церковь смогла сохранить за собой свободу нравственного суда над царством кесаря, и к ее суждениям внимательно прислушивался верующий народ. Протестантская Церковь, не имея автономной организации, сохраняла свободу суждения на уровне отдельных авторитетных мыслителей и богословов, и к их мнению также



прислушивались единоверцы. Голос Православной Церкви, судящий власть, объявляющую себя православной, умолк в XVIII веке, и Церковь безмолвствовала в общественных и политических вопросах до самого конца монархии, чтобы тут же отречься от нее в первом же после 2 марта 1917 года заседании Синода.

“В России не оказалось ни священника, ни пророка, которые могли бы сказать царю во имя Божией воли и высшего достоинства человеческого – ты не должен, тебе не позволено, есть пределы вечные”, – писал в 1896 году в статье “Византизм и Россия” Владимир Соловьев<sup>96</sup>. Он не совсем прав, такие пророки находились, но всякий раз вне Российской Православной Церкви – сначала в сектантстве и масонстве, позднее, в XIX веке, в квазимасонских тайных обществах иллюминатов-декабристов вроде Великой Ложи Астреи, еще позднее – в радикальных богоборческих обществах народовольцев, эсеров, эсдеков. Им верили, их слушали со вниманием, священникам же, призывавшим “Бога бояться, а Царя чтить”, верили все меньше.

Великой трагедией России стало то, что сервилизм Церкви, боявшейся и не сумевшей жить в соответствии с “глаголами вечной жизни”, отдал народ во власть сектантов и заговорщиков, владевших лишь крохами той истины, которая в полноте была излита на Церковь. И даже эти крохи привлекли и пленили народ, жаждавший Истины и не обретавший ее там, где естественней всего было надеяться обрести ее.

## **На грани веков. Царствование Павла I и начало царствования Александра Благословенного**

## § I

Царствование Императора Павла Петровича стало явной и сознательной реакцией на правление Екатерины. Десятилетиями живя в Гатчине фактически под домашним арестом, Цесаревич с ненавистью, отвращением и страхом наблюдал долгое царствование своей матери. С детских лет знал он, что Екатерина – убийца отца и узурпаторша трона, и ненавидел мать и ее бесчисленных фаворитов. Он знал также, что и Екатерина не любит его и серьезно думает передать престол через голову Павла своему старшему внуку – Александру, который был отобран у отца и воспитывался в духе бабки швейцарцем Лагарпом. Павел знал и о том, что Александр согласился на эту комбинацию и благодарил бабушку за доверие. Тотчас после смерти Екатерины «штурмом» взяв Царское Село, Павел первым делом бросил в огонь камина завешание матери, передававшее престол внуку...

Это не было примитивным стремлением к царской власти. Павел давно считал себя законным Императором, отстраненным от престола. Правление матери, как и восшествие ее на престол, считал он преступным, Екатерину полагал губительницей России и не вовсе без оснований опасался, после Пугачевского бунта, повторения французского революционного взрыва в своем Отечестве. Державную власть он желал получить для спасения России, для исправления ошибок предыдущего царствования, предотвращения катастрофы. Восемнадцатилетний Александр, бывший к тому же чуть ли не республиканцем, носивший трехцветную французскую кокарду, окруженный «орлами» Екатерины, мало подходил на роль спасителя России от чумы революции.

Глубоко религиозный, воспитанный митрополитом Платоном (Левшиным), Павел ненавидел законодателей дум и сам дух века Просвещения. С наивной прямолинейностью он не только запрещает ввоз вольнодумных книг и резко ограничивает выезд русских в Европу и приезд иностранцев в Россию, но и ополчается против длинных штанов, высоких сапог, шнуровки

башмаков, круглых шляп и зачесывания волос на лоб (указ 8 ноября 1796 года), поскольку все это – мода Французской Революции. А в том, что Революция – дитя Просвещения, Павел не сомневался ни на минуту.

Павел тоже был гуманистом, но отнюдь не вольтеровского толка. И для него человек был высшей ценностью. Особенно болело сердце Павла за простых людей, розданных матерью в рабство своим фаворитам, грабившим и материальные богатства России, и главную, по его мнению, ценность – ум и силу человеческую. Двадцатичетырехлетний Павел Петрович говорил своему воспитателю Никите Панину: «Человек – первое сокровище государства, а труд его – богатство. Его нет – труд пропал и земля пуста; а когда земля не в деле, то и богатства нет. Сбережение государства – сбережение людей, сбережение людей – сбережение государства»<sup>97</sup>. Слова эти достойны не молодого человека, в умственных способностях которого порой и сейчас сомневаются, но мудреца, прожившего жизнь, – Конфуция или Платона эпохи «Законов». Как часто в нашей несчастной России пренебрегали этим замечательным принципом! Взойдя на престол, Павел немедленно вернул из ссылки Радищева, освободил из крепости Новикова.

Исправляя преступление матери, Павел перенес с царскими почестями тело Государя Петра Федоровича из Александро-Невской Лавры в Петропавловский собор и похоронил одновременно с Екатериной 18 декабря 1796 года в императорской усыпальнице. Не пожелавшая даже взглянуть на тело убитого супруга, Екатерина разделила с ним, по воле сына, смертный одр, восстанавливая тем самым «закон естества». Павел тут же восстановил и «естественный» закон престолонаследия, отмененный Петром I. Сам потерпев от произвола матери, зная, сколь много потрясений пережила и Россия, и династия из-за введенного Петром правила произвольного определения наследника царствующим Императором, Павел освободил наследование престола от воли монарха, сделав его «автоматическим» – «по порядку первородства», по нисходящей мужской линии, предав тем самым Всероссийский Императорский престол усмотрению

Божью. Вплоть до отречения Николая II закон этот, связанный к тому же священной присягой во время венчания на царство, неукоснительно соблюдался всеми русскими самодержцами, что сделало XIX век столетием мира и покоя при наследовании престола в противоположность мятежному XVIII веку. Отрекаясь «за сына»<sup>98</sup> марта 1917 года, Николай II впервые нарушил закон 1797 года, и с этим нарушением пресеклась монархия в России.

Павел жил идеалами средневекового рыцарства, идеалами чести и бескорыстной верности Богу. Но его издерганный постоянными страхами и огорчениями ум не мог отличить малое от великого, не знал науки компромисса, политического маневра. Крой штанов и закон о престолонаследии имели для Павла чуть ли не равную значимость. Если все подписанные им указы разделить на дни царствования, то получится, что в день он подписывал по указу (Петр I подписывал один указ в два дня, Екатерина – в три). Такое интенсивное законотворчество вносило сумятицу в управление государством. «Желая водворить порядок при дворе и в администрации, он громко осуждал и искоренял старое, новое же насаждал с такой строгостью, что оно всем казалось горше старого. Неподготовленность к делам сказывалась на всем, что делал Павел, и, соединяясь с неровностью его характера, сообщала всем его мерам колорит чего-то случайного, болезненного и капризного», – пишет С. Ф. Платонов<sup>2</sup>. Но при этом, по оценке В. О. Ключевского, «в основе правительственной политики Императора Павла внешней и внутренней лежали серьезные помыслы и начала, заслуживавшие нашего полного сочувствия Павел был первый противодворянский царь этой эпохи Чувство порядка, дисциплины, равенства было руководящим побуждением деятельности Императора, борьба с сословными привилегиями – его главной целью Смирняя классовый аристократизм, Павел невольно обращался лицом к идеалу общенародного монарха. „Все-все подданные и мне равны, и всем равно я – Государь“, – говорил Император»<sup>99</sup>.

Два эти определения замечательных русских историков вполне согласуются. Пожалуй, самое существенное в политическом облике Государя Павла Петровича было то, что,

ненавидя дух Просвещения, он был вполне солидарен с духом Абсолютизма, с Просвещением связанным почти неразрывно. Павел не верил в разумную деятельность народа, в самоуправление, в «инициативу снизу». Следуя Декарту и Гоббсу, Император видел в обществе только сложный механизм, механиком при котором его назначил Бог. Тонкое переплетение свободных человеческих волей, их греховных и святых импульсов, таинственно связанных с волей Государя и во многом определяемых, вдохновляемых его волей, его нравственными выборами, не сознавалось Павлом. Он не вымаливал свой народ, но и, упаси Боже, не использовал его для собственных прихотей; он организовывал его, как часовщик упорядочивает работу часового механизма. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю» – эти слова Императора князю Репнину могут быть избраны девизом его царствования, мимо них не проходит ни один историк правления Павла.

Вольности дворянства возмущали его. Как можно жить в стране и не функционировать в ее механизме? И он, пересматривая Жалованную грамоту 1785 года, значительно умаляет права шляхетства и увеличивает его обязанности. Он весьма ограничивает самоуправление городов, которое, впрочем, и при Екатерине оставалось главным образом на бумаге. С другой стороны, Император старается упорядочить отношения крепостной зависимости. Нет, он отнюдь не является противником крепостного права, напротив, он ценит в крепостной зависимости элемент порядка и организации. Он не видит в ней принципиального несоответствия нравственному принципу, которое ясно сознавала Екатерина. Павел за четыре года своего царствования раздает в частную крепостную зависимость более 500 тысяч казенных крестьян обоего пола (Екатерина за 35 лет – около 800 тысяч) и прикрепляет к земле указом 12 декабря 1796 года земледельцев, работавших в частновладельческих имениях Донской области, Северного Кавказа и Новороссии (Екатеринославская, Таврическая и Вознесенская – позднее Херсонская – губернии). Но при этом он определяет минимальные размеры крестьянского надела и

требует от помещиков удовлетворять своих малоземельных крестьян по фиксированным нормам землепользования. Манифестом 5 апреля 1797 года Император запрещает принуждать крестьян к труду в воскресные и праздничные дни и рекомендует разделять поровну остальные шесть дней недели между трудом крепостного в собственном хозяйстве и на барщине. Помещики игнорировали этот манифест, зато крестьяне окрестили Павла «новым Пугачевым» и стали отказываться от излишней барщины. Начались крестьянские волнения, и поползли слухи, что скоро рабству будет конец и дарует царь народу полную волю.

Абсолютистская и притом религиозная установка ума Императора приводила его к убеждению, что он, милостью Божией Император Всероссийский, один способен в полноте видеть Божественный закон и проецировать его в государственное законодательство. Он вполне серьезно считал себя Главой Церкви, и даже не только Церкви Русской Православной, но и вселенской. Конфессиональные различия Павла совершенно не беспокоили. С легкостью он приглашает папу переехать из Рима, оккупированного безбожными французами, в Петербург. Он устраивает в России Иезуитский орден, гонимый тогда по всей Европе, и Мальтийский орден, изгнанный Наполеоном с Мальты. Павел принимает на себя титул гроссмейстера Мальтийского ордена и, облачившись в мантию, руководит орденскими церемониями. Но это благоволение к западной Церкви никак не происходит за счет небрежения Православной Русской Церковью. Напротив. Он и ее жалует деньгами и землями, архиереев и белое духовенство – орденами, церковными наградами и даже... аксельбантами.

В Акте о Престолонаследии он объявляет себя «Главой Церкви» и потому, совсем как египетский фараон, рассматривает клириков своими заместителями и представителями при священнодействиях. Рассказывают анекдот, что он даже вознамерился самолично служить литургию, и митрополиту Платону больших трудов стоило отговорить Императора от литургисания, и то лишь объясняя невозможность этого второбрачием Павла.

Действительно, в тех случаях, когда клирики указывали Павлу на нарушение им какого-либо церковного установления, он благочестиво повиновался, но не потому, что считал священство выше царства, а потому только, что всегда готов был признать, что по неведенью или забывчивости проигнорировал закон, который по долгу службы должно знать священноначалие. Митрополит Платон, воспретивший Императору при шпаге войти царскими вратами в алтарь для причастия, имел для Павла не больше авторитета, чем председатель Сената, напоминающий государственный закон, который Император невольно готов был нарушить. Павел согласен был повиноваться Божественному закону и даже закону земному, но не какой-либо человеческой воле. Древний идеал Симфонии, учитывавший несовершенство, греховность любой человеческой природы, в том числе и природы царя, и одновременно духоносность Церкви, которую «не одолеют силы ада», оставался чужд Павлу или не был им понят.

Павел отнюдь не враждовал с Церковью и не боялся ее нравственно или политически, как Екатерина. Он вернул Церкви свободу, неслыханную со времен Петра Великого, позволив самим синодальным архиереям выбирать обер-прокурора (весна 1799 года), но только потому, что был уверен, что ни одно постановление Синода не сможет войти в силу без императорской контрассигнации.

Несмотря на глубокую и горячую личную веру, Павел не восстановил симфоничные отношения между Церковью и Царством, подобные отношениям между совестью и волей в человеке. Совесть продолжала быть сдавлена абсолютной царской волей и потому не могла врачевать душу и монарха, и подвластного ему народа. Оставив себя «Главой Церкви», Павел не мог понять великого новозаветного принципа «где Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3:17). Потому-то спокойно относился он к рабскому положению крестьян и легко стеснял несвободой, мелочной и детской, все другие группы русского общества. Он, безусловно сам того не желая сознательно, фактически подменял собой истинного Главу Церкви – Иисуса Христа. В этой подмене – главный грех Абсолютизма, а в том,



что такая подмена оказалась возможной в XVII веке в Западной Европе, а в XVIII – XIX – и в России, повинны Ренессанс и Просвещение, унизившие и обессилившие веру. Без «Духовного регламента» Феофана Прокоповича, без богохульств Петра I, лютеранствующих безумств церковной политики Петра III, без удушения Церкви Екатериной верующий ум Павла просто не смог бы войти в соблазн «главенства» над Телом Христовым. Приняв на себя бремя «не по чину» («Глава Церкви»), Павел не смог его вынести. Воля надломилась. Дела дедов и отцов свершились в сыне, который был чище, добрее и благородней любого из них. Но таков уж нравственный закон – выстрадывать грехи предков приходится лучшим из потомков.

Чем дальше, тем больше Павел страшился повторить судьбу своего отца. Подозревая, притом совершенно беспочвенно, Марию Федоровну в замысле его свержения, Император стал видеть в жене врага, а в Цесаревиче Александре – соперника. Тени прошлого ужасали Императора, а ловкие интриганы – брадобрей Кутайсов и Лопухины – раздували его болезненную мнительность. Летом 1798 года Павел порывает с женой, сходится (неизвестно, насколько коротко) с девицей Лопухиной и переносит опалы с подданных на своих домашних. Цесаревич Александр писал в эти дни, что он находится «под топором»<sup>100</sup>. И не было рядом авторитета Церкви, который бы восстановил мир в царской семье, успокоил болезненную мнительность Павла, погасил вспышки неукротимой ярости. Приближалась развязка.

Царствование Екатерины вселило ненависть к верховной власти в податное сословие, но дворяне боготворили Государыню – кто за вольности, кто за право распоряжаться толпами рабов, а кто и за царивший при ее дворе либеральный дух вольтерьянства. Павел оттолкнул от себя дворянство строгостями, контролем, деспотизмом, нравственной требовательностью. И вокруг него образовалось пустое пространство. Когда же опасность преследований коснулась жены и детей, ближайших вельмож и царедворцев, соткался заговор, и 11 марта 1801 года Павел, оставленный всеми, был убит в Михайловском замке.

XIX век начался цареубийством в результате заговора, подготовка которого была известна великому князю Александру Павловичу, восшедшему на престол, обагрённый ещё теплой кровью своего отца. Смерть сына от руки отца и убийство отца при попустительстве сына – так начался и так завершился Век Просвещения для царствовавшего дома России. «Я Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20:15) – «Прадеду от правнука» повелел начертать Павел на воздвигнутом перед Михайловским замком памятнике Петру Великому...

## § II

Судя по мнению большинства историков, в том числе и таких информированных, как великий князь Николай Михайлович, Александр Павлович желал получить трон отца, но не такой страшной ценой. Он не понимал, что согласие на возглавление заговора – тяжкое преступление пятой заповеди, не говоря уже о нарушении государственных законов. Можно ли нарушителю быть стражем закона? Но совесть Цесаревича Александра не воспротивилась шантажу и льстивым доводам заговорщиков. В результате – отцеубийство и каинова печать на лице «Благословенного» Государя, которую он выстрадывал, чем дальше, тем больше, всю жизнь – и выстрадал ли? Народная легенда о сибирском старце Федоре Кузьмиче говорит, что да. История же не отвечает на такие вопросы.

Вся Россия, весь культурный мир знали, что Александр – отцеубийца, и по крайней мере единожды Императору суждено было услышать это обвинение в лицо. Взятый в плен при Кульме 30 августа 1813 года и приведенный к Александру французский генерал Д.-Р. Вандам на укоры в жестокости по отношению к мирным жителям ответил Императору: «Но я не убивал своего отца!»...

В конце 1940-х годов протоиерей Александр Шмеман писал: «Мы не можем не видеть, что история России была трагедией»<sup>101</sup>. Банальность? Быть может. Но задумаемся на минуту над изначальным смыслом трагического в контексте культуры, трагедию как жанр породившей. Трагедия рождается отнюдь не из духа музыки. Трагедия рождается из неотвратимости рока. Преступление предков, часто забытое, ставит потомков в отчаянные обстоятельства, и они, дабы избавиться от его последствий, творят новые преступления, и за ними следуют новые воздаяния, и так без конца, пока не изничтожится до конца род или не осознает некто из потомков преступника причины страданий, не усмотрит в делах предков преступление законов Божеских и человеческих и не примет свои страдания как законное возмездие и искупление,

воскликнув, подобно благоразумному разбойнику на кресте: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли» (Лк. 23:41) – и раскаянием прекратит месть. Тогда разомкнется цепь трагедии, и достигнут будет катарсис божественного покоя, и отступят эринии.

Возможно, для любого вдумчивого человека история его народа, его отечества – трагедия. Но «перед своим Господом стоит он или падает» – не нам судить пути других народов. Трагизм же русской истории, столь ясно открывшийся в XX веке, сейчас потрясает еще больше, чем в те годы, когда о. Александр Шмеман писал свою первую книгу. И тем важнее для нас опыт осознания трагизма пути России и попыток исправить преступления отцов. XIX век по преимуществу был для России временем критической исторической рефлексии – от Карамзина и Чаадаева до Леонтьева и Владимира Соловьева. Но, пожалуй, лишь единожды в руки сознающего были даны Провидением бразды абсолютной верховной власти. Герцен назвал Александра I «коронованным Гамлетом, которого всю жизнь преследовала тень убитого отца». Но трагизм Александра значительней личной драмы отцеубийства. С каждым годом все больше преследовала «Благословенного» Императора поруганная его предками Россия. И все более напрягая силы, пытался он исправить последствия деяний Петра и Екатерины, перекладывая штурвал с безудержной эвдемонии на сотерию, но так и не сумел повернуть рулевое колесо, изменить курс корабля Империи...

В Российском царствующем доме весь XVIII век прошел в жестоком, часто кровавом конфликте отцов и детей. Этим аспектом своей личности Александр был монархом предшествовавшего столетия. В один день он отменил множество указов только что убитого отца и при восшествии на престол объявил, что намерен править «по законам и по сердцу Бабки нашей Государыни Императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна, да по Ея премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы». Итак, цель была провозглашена вполне эвдемоническая – «верх славы», метод же, которым думал

двадцатичетырехлетний Царь ее достичь, требует внимательного вглядывания.

Александр отнюдь не был слепым поклонником Екатерининского правления. Его изъяны он видел отлично и желал исправить их еще в бытность Цесаревичем. «Он сказал мне затем, – вспоминал свою первую беседу с великим князем Александром Павловичем весной 1796 года в саду Таврического дворца князь Адам Ежи Чарторыский, – что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки, что он порицает ее основные начала...»<sup>102</sup> Память не изменила князю Адаму, когда он писал свои воспоминания о далекой юности. 21 февраля 1796 года великий князь Александр признавался своему учителю, швейцарцу Лагарпу: «Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека, это ужасно...»<sup>103</sup> А в письме от 10 мая 1796 года в Константинополь сердечному другу князю Виктору Кочубею, тогдашнему послу при Блистательной Порте, Александр говорил еще откровенней: «Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед теми, кого боятся. В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду, а Империя стремится лишь к расширению своих пределов...»<sup>104</sup>

Уже в первый год своего царствования Александр многое изменил, многое провозгласил, а в узком кругу «Негласного комитета» еще больше обсудил такого, что очень расходилось с деяниями «Августейшей Бабки». Но не был Александр в манифесте о восшествии на престол и примитивным лжецом. Ведь он несколько раз сказал, что собирается править «по сердцу» и «по намерениям» Екатерины. А Екатерина, как

известно, порабощая миллионы русских людей и держа их в совершенном скотстве и невежестве, сердцем желала свободы, равенства, просвещения и братства для всего человечества. Александр на первых порах стремился продолжать не дела Екатерины, но воплощать ее замыслы и устремления, быть не столько корреспондентом Дидро, сколько осуществителем его идей. Слово «закон», увенчанное императорской короной, он повелел высечь на медали, отлитой в честь своей коронации, а «обуздание деспотизма нашего правительства» провозгласил главной своей целью.

Четыре с половиной года царствования Павла были преданы забвению. После 11 марта на улицах Петербурга почти тут же вновь появились круглые шляпы, длинные панталоны, высокие сапоги. Щеголи зачесали волосы на лоб и завили их *à la Titus*. Вскоре были возвращены вольности дворянству, отменены телесные наказания за уголовные преступления для дворян и духовенства, категорически воспрещены пытки, разрешен свободный въезд и выезд из России, дозволена свободная деятельность типографий и ввоз любых книг из-за границы (немыслимая свобода для большинства государств тогдашней Европы, но Александр мечтал о ней все Павлово правление), 2 апреля уничтожена Тайная экспедиция (политический сыск).

Воспитанный Фридрихом Цезарем Лагарпом в духе французского Просвещения, в преклонении перед свободой и достоинством естественного человека, Александр был научен модным для его времени установлениям – верховенству законов, конституционному порядку, работе законодательной ассамблеи. Научен до того, что думал, взойдя на престол, дать России свободу и конституцию и удалиться инкогнито в Америку (см. дневник А. С. Пушкина 21 мая 1834 года) или «по отречении от этого неприглядного поприща (императорской власти. – А. З.)... поселиться с женой на берега Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы» (письмо в Константинополь князю Кочубею от 10 мая 1796 года), или на швейцарской ферме, поблизости от Лагарпа (письмо Лагарпу в

Женеву от 21 февраля 1796 года). План этот, как сам Александр признавался Кочубею в том же письме, родился у него, когда Александру Павловичу не было и пятнадцати лет...

Он был лишен и властолюбия бабки, и абсолютистской ответственности отца. В отличие от Павла, молодой Александр искренно верил в совершенство природного человека, который может прекрасно самоуправляться, следуя естественным законам человеческого сообщества. Об «отвращении» Александра к абсолютизму Лагарп писал в письмах к нему как о само собой разумеющемся факте. Республиканская Франция, Швейцарская Конфедерация и особенно Северо-Американские Соединенные Штаты были для Александра вполне положительными примерами организации политической жизни.

Вспоминая о своей беседе с Александром Павловичем летом 1796 года в Царском Селе, князь Адам Чарторыйский писал, что его собеседник «желал бы всюду видеть республику и признает эту форму правления единственно сообразною с желанием и правами человечества... Наследственность престола, по его мнению, установление несправедливое и нелепое»<sup>105</sup>.

Скоро разочаровавшись в правлении отца, поняв, что дела идут у Павла не лучше, а еще хуже, чем у Екатерины, и авторитарный деспотизм Павла превзошел все возможные пределы, не принося России ни грана свободы и благоденствия, Александр отказался от своей юношеской мечты и, быть может, под влиянием друзей (Кочубея, Чарторыйского, Новосильцева) соглашается в будущем взойти на престол, но для реализации той же конечной цели – превращения России в демократическую республику. Князь Адам Чарторыйский, тогдашний адъютант цесаревича, вспоминал, что, готовясь к коронационным торжествам отца, Александр принудил его написать проект собственного коронационного манифеста, где бы провозглашалось, что Александр принимает царский венец только на время и для того, чтобы даровать русскому народу демократические политические установления<sup>106</sup>.

Втайне от отца двадцатилетний Александр посылает в сентябре 1797 года с Новосильцевым письмо Лагарпу в Женеву:

«Вам уже давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. Несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев. Мне кажется, что это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей. Дай только Бог, чтобы мы когда-либо смогли достигнуть нашей цели – даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание, и я охотно посвящу все свои труды и всю свою жизнь этой цели, столь дорогой для меня»<sup>107</sup>. Какая огромная дистанция между этими наивными и возвышенными мечтаниями Цесаревича Александра и осуждением конституционных «бесплодных мечтаний» устами только что венчанного на царство его правнучатого племянника сто лет спустя!



### § III

В первый период царствования Александр оставался вполне верен своим мечтам и стремился «институционально» преобразовать Россию. Молодой Император был убежден, что правильные формы обязательно наполнятся добрым же содержанием. Помудревший с годами Лагарп стал слишком консервативным для своего венценосного ученика. Теперь Александр переписывается с американским президентом Джефферсоном и просит у него советов.

Александром продолжают владеть две реформаторские идеи – конституция для народа России и свобода для крепостных крестьян. Сразу же по воцарении он поручает Дмитрию Трощинскому и князю Александру Воронцову составить проект «Всемиловитейшей грамоты, Российскому народу жалуемой», обеспечивающей гражданскую свободу и личные права граждан. Но грамота эта, встретив сильную оппозицию среди высшей аристократии, поскольку предполагала уравнивание в гражданских правах с дворянами и низших, податных сословий России, в том числе и крестьян, так и осталась «в проекте»<sup>108</sup>.

В 1804 году министр юстиции и управляющий Комиссией составления законов князь Петр Лопухин «по высочайшему повелению» поручил барону Густаву Розенкампу составить проект конституции для России. Но вновь дело осталось без последствий, и даже проект Розенкампа затерялся (если и был).

Однако Александр не оставляет мечтаний о русском народоправстве. Тридцати лет, в 1807 году, он поручает составление плана коренного преобразования государственного строя России Михаилу Сперанскому. И на этот раз мы точно знаем, что работа была доведена до конца и осенью 1809 года проект поднесен Сперанским Государю<sup>109</sup>. Император одобрил проект, и предполагалось даже «в 1 день сентября, в новый год по старому русскому стилю открыть Государственную Думу со всеми приличными обрядами». Но вновь проект был с

негодованием встречен большинством высшего общества: во-первых, из страха потери всевластия над крепостными, а во-вторых, как ни стыдно это сознавать, – из зависти к «поповичу» Сперанскому. По столицам ходил mot – до конституции в России правят Романовы, а после конституции – Сперанские. Карамзин (искренно или по зависти – Бог весть) обвинял Сперанского перед Императором, что он просто списал Кодекс Наполеона<sup>110</sup>, что, конечно же, было неправдой. Некоторые важные преобразования в соответствии с проектом Сперанского были осуществлены, но всеобщего государственного преобразования не получилось и на этот раз. Помня, должно быть, судьбу отца и деда, Александр решил не спешить, встретив сопротивление аристократии. Да и время для конституционных экспериментов в 1810 – 1811 годах было совсем не подходящим – Россия стояла на пороге большой войны с наполеоновской Европой.

В это же первое десятилетие своего царствования Александр предпринимает шаги по преодолению крепостного права. «Ничего не может быть унижительнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и для того неотменно нужен указ, который бы оную навсегда запретил», – записал как-то в памятную книжку Цесаревич Александр. Во время коронационных торжеств в Москве 15 сентября 1801 года Александр объявил: «Большая часть крестьян в России – рабы, считаю лишним распространяться об унижении человечества и о несчастьи подобного состояния. Я дал обет не увеличивать числа их и поэтому взял за правило не раздавать крестьян в собственность».

С этого дня свободных людей в России более не обращали в рабство. 12 декабря 1801 года императорский указ воспретил печатать объявления о продаже крестьян без земли и с раздроблением семей. И в тот же день впервые в России всем гражданам, кроме крепостных крестьян, разрешено было иметь землю в безусловном частном владении (до того право на частное землевладение имели только дворяне).

Право на частное землевладение открыло возможность для принятия 20 февраля 1803 года очень важного закона о свободных хлебопашцах. Теперь помещик «по заключении

условий, на обоюдном согласии основанных», со своими крестьянами мог освобождать целые деревни с землей и угодьями. Крестьяне в этом случае получали землю в частную собственность и становились «свободными хлебопашцами». Закон «О свободных хлебопашцах» открыл путь к ликвидации крепостного состояния, сообразуясь со свободной волей самого просвещенного и европеизированного сословия России. Это был не повелевающий, но позволяющий закон. «В принципе он имел огромное значение. Дворяне осознали, что Александр может предоставить свободу крестьянам...» – указывал Г. В. Вернадский<sup>111</sup>.

Мы не знаем, ожидал ли Александр массового добровольного освобождения крепостных или же только давал возможность рабовладельцам явить свою свободную волю, но как средство социального переустройства закон 20 февраля 1803 года оказался малоэффективным. Дворяне не пожелали освобождать своих крепостных. За все время царствования Александра I в «вольные хлебопашцы» перешло 47 тысяч душ мужского пола, или 0,45 процента всех крепостных, считая по 6-й ревизии 1811 года. «Видимо, дворянство в большей степени было склонно вынашивать глобальные планы переустройства общества, нежели начинать его осуществление с освобождения собственных крестьян», – резюмирует современный историк<sup>112</sup>. Один из членов Негласного комитета, граф П. А. Строганов, видя неудачу правовых инициатив в области эмансипации крепостных, в сердцах сказал о русских дворянах: «Это сословие – самое невежественное, самое ничтожное и в отношении к своему духу наиболее тупое»<sup>113</sup>. Страшный вердикт.

Но увы, даже самые просвещенные и «утонченные» рабовладельцы воспротивились освобождению крепостных. Великий поэт и «бульдог Фемиды» Гавриил Романович Державин категорически выступал в Государственном Совете против закона 20 февраля – «чернь обратит свободу в своеволие и наделает много бед». Блистательный Н. М. Карамзин, уже выказавший себя противником эмансипации крепостных в «Письме сельского жителя» (1802), писал в 1811

году в «Записке о древней и новой России...»: «Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угодно, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая – в чем не может быть и спора – есть собственность дворянская. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным»<sup>114</sup>. «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы, – вспоминал Пушкин о Карамзине. – Оспоривая его, я сказал: „Итак, вы рабство предпочитаете свободе“. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником»<sup>115</sup>. Но и величайший поэт России, сколь мы знаем, не прилагал никаких усилий к тому, чтобы превратить михайловских крестьян в свободных хлебопашцев, и «тягостный ярем» мужички влекли до 1861 года.

«Ни один представитель либерального или революционно-радикального мира, за исключением Н. П. Огарева, не отпустил своих крепостных на волю в 1840 – 1860 гг., включая Самариных, Аксаковых, Киреевских, Кошелевых, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, К. Д. Кавелина, Л. Н. Толстого, а две трети дворянства, по оценке П. Д. Боборыкина, были против отмены крепостного права», – удивляется Б. Н. Миронов<sup>116</sup>. Действительно странно, странно и грустно, а зная будущее, и страшно за высший класс, лучших людей русских. «В монархиях, – пишет великий защитник монархического принципа граф Жозеф де Местр, – дворянство есть не что иное, как продолжение царственности. Эти роды – хранители священного огня. Он угасает, когда они утрачивают чистоту»<sup>117</sup>. За царствование Николая I в свободные хлебопашцы было переведено еще около 66 тысяч душ мужского пола (0,6 процента от всех крепостных крестьян России по 10-й ревизии

1857 года). «Священный огонь» русского дворянства явно угасал и чадил...

Единственное нравственное оправдание существования высших сословий в том, что они подтягивают к себе низшие, повышают их культуру, их образованность, их благосостояние, заботятся об их духовном устройении, их спасении. В сотерических цивилизациях единение в спасении выходит на первый план, в цивилизациях эвдемонических – единение в благоденствии. И обе эти предельные цели в своей системе аксиологии общественно оправданы.

Но вся беда в том, что эвдемония редко удерживается на высоте альтруизма. Наследовать вечность, спастись без помощи ближнему невозможно, кажется, в любой религиозной системе. Бога не обманешь. В христианстве не богословские умозрения, а именно отношение к ближнему – мерило праведности на Страшном Суде, залог жизни вечной или муки вечной (Мф. 25: 31 – 46). Но эвдемония, любовь к миру, почти с неизбежностью соскальзывает на любовь к себе, и все иное становится лишь средством для личного счастья или счастья общностей, в которые человек более или менее произвольно включает себя, будь то семья, класс, нация, государство, конфессиональная группа. И счастье свое индивидуальное или свое коллективное почти всегда мыслится за счет кого-то другого – другого человека, которого надо обойти в карьере, другого народа, который надо подчинить, другой страны, которую надо ограбить или завоевать, другого класса, который надо поработить. А согласие эгоизмов, как правило, слишком хрупко для долговременного общественного благоденствия, да и оно большей частью строится на обмане и скрытничестве. Богатые прячут свое богатство от бедных, владыки – свою власть от подвластных, неверные супруги – свои радости от обманутой половины. Но у лжи «короткие ноги»...

Император Александр ясно сознавал две простые истины. Что, во-первых, государство с конституционным строем и элементами народоправства невозможно создать, не освободив порабощенную часть русских людей. «В самом деле, каким образом можно основать монархическое управление по образцу

нами предложенному, – писал М. М. Сперанский Императору в проекте государственного переустройства России на конституционных началах, – в стране, где половина населения находится в совершенном рабстве, где сие рабство связано со всеми почти частями политического устройства...» И, во-вторых, что освобождены должны быть образованные люди, которые смогут отличить доброе от злого, полезное от вредоносного и потому, обретя свободу, стать ответственными гражданами, а не всеразрушающей стихийной силой, легко увлекаемой любым авантюристом. «Из человеколюбия, равно как и из доброй политики, должно рабов оставить в невежестве или дать им свободу»<sup>118</sup>, – указывал, рассуждая от противного, тот же Сперанский в одной из записок Государю. Рабовладельцы боятся просвещать рабов, а непросвещенные рабы не могут быть, по убеждению Карамзина, освобождены – замкнутый круг.

Обладая немалой политической интуицией, крепостное крестьянство считало своим главным врагом и поработителем не Государя и государство, но дворян-помещиков, которых и ненавидело, за редкими и характерными исключениями, лютой ненавистью. Примечательный, но не слишком известный факт: во время нашествия Наполеона крестьяне не только шли в ополчение и партизаны воевать против французов, но и повсеместно вместе с французскими мародерами грабили усадьбы, оставленные их господами. «В декабре (1812 года. – А. З.) мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях и пр. нашли все разграбленным, – вспоминал известный славянофил Александр Иванович Кошелёв. – Отца моего особенно огорчало то, что разграбление, как из рассказов оказалось, было произведено менее французами, чем нашими же крестьянами и некоторыми дворовыми людьми»<sup>119</sup>. То есть крестьянская война отнюдь не закончилась на Руси казнью Пугачева. Она тлела ненавистью крестьян к своим поработителям, убеждением в незаконности помещичьих богатств и готова была вспыхнуть при мало-мальски сильном ветре всепожирающим пламенем. Платя своим единоверным и единокровным поработителям той же монетой, мужики были готовы даже сотрудничать с завоевателем, пренебрегая своей

религиозной и национальной тождественностью дворянам. Этот коллаборационизм вновь проявит себя в годы Гражданской войны, когда русские мужики пошли за немцами, евреями и латышами против своих, русских генералов, да и в годы Второй мировой – отлившись в массовую сдачу в плен в 1941 году и во власовское движение. Кто тут виноват больше – предатель или доведший до предательства?

Прекрасно знающий русскую деревню, сам выросший в компании деревенских черкутинских мальчишек, М. М. Сперанский писал из Пензы А. А. Столыпину 2 мая 1818 года: «Существует общее в черном народе мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но что оно ее уже и даровало и что одни только помещики не допускают или таят ее провозглашение»<sup>120</sup>. Понятно, какие межсословные отношения формировало это убеждение.

Император Александр ведал это, ужасался этим, но как покончить с рабством и не погубить Россию – он не знал. Себя Император готов был принести в жертву эмансипации. «Я желал бы вывести наш народ из дикарского состояния, при котором дозволена торговля людьми, – говорил в 1807 году Александр французскому генералу Савари. – Добавлю даже, что если бы гражданственность (civilisation) [в России] стояла на более высокой ступени, я уничтожил бы рабство, даже если это стоило бы мне головы»<sup>121</sup>. Он понимал, что рабовладельцы никогда не простят ему эмансипации, и готов был разделить участь отца и деда, но смогут ли сами одичавшие рабы воспользоваться своей свободой во благо себе и России? Александр был достаточно умен, чтобы склоняться к отрицательному ответу. О его правоте свидетельствует вся последующая история России. Ужас положения Императора был в том, что он не мог и не желал управлять страной рабов и рабовладельцев, но изменить положение, освободить крестьян не мог также. Карамзин, увы, был прав – век Просвещения привил сознание раба одичавшему русскому мужику, а бунт рабов беспощаден и разрушителен.

Дать же политические свободы только высшим, просвещенным и образованным, сословиям Александр также не

мог, хотя сами дворяне желали этого. Во-первых, это невозможно было по моральным соображениям, во-вторых – по политическим. «Представители сословия, достигшего исключительных сословных льгот, теперь проявляли стремление к достижению политических прав», то есть к ограничению абсолютной монархии в свою пользу, указывал С. Ф. Платонов<sup>122</sup>. Взяв в свои руки политическую власть, дворянство, не пожелавшее переводить своих крепостных в положение вольных хлебопашцев, утвердило бы в России рабство на веки вечные. Знаменитое пушкинское «правительство у нас – единственный европеец» верно и в отношении крепостного права: не дворяне, а именно Император (который и был правительством в абсолютистской России) стремился к отмене рабства.

К 1811 – 1812 годам Александр окончательно убеждается в том, что ни немедленная эмансипация рабов, ни конституция только для высших сословий в России невозможны. Он увольняет главного реформатора – Михаила Сперанского – и погружается в отчаяние безысходности. Преступления его предшественников на русском престоле кажутся ему неисцельными. Но неожиданно надежда возвращается. Она приходит извне и изнутри – нашествием галлов и с ними двенадцати языков и личным обращением Государя к Богу.



## § IV

По точному слову Ключевского, в эпоху Александра «эстетическая культура сердца заменяла нравственные правила тонкими чувствами». Мечтательность явилась психической компенсацией нравственной катастрофы конца XVIII – начала XIX века. «Для всей эпохи так характерно именно это расторжение ума и сердца, мысли и воображения, – пишет о. Георгий Флоровский. – То была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений. Не столько даже безвольность, сколько именно эта безответственность сердца»<sup>123</sup>.

Но век Просвещения уходил в прошлое. Французская революция, убийство Короля и Королевы восставшей парижской чернью, борьба с Церковью, сознательное уничтожение традиций и массовое исповедничество христиан перед лицом ужасных гонений давали новые поводы для размышления взамен старых просвещенческих идеалов. Пока общество «влюблялось в обманы и Ричардсона и Руссо», а прожектеры общественного блага вслед за Джефферсоном и Мирабо неутомимо продолжали писать проекты конституций и гражданских хартий, глубокие натуры вместе со Шлегелем, Новалисом, Шатобрианом совершали медленный и трудный путь от просвещенческого веселого скепсиса – к глубокой личной вере, обычно соединенной, в отличие от масонства предшествовавшего столетия, с восторженным почитанием тех веков родной истории, когда сердечное устремление к Богу еще не было осмеяно просвещенческим рационализмом.

Безудержная вера в человека сменялась верой в Бога и недоверием к человеку, от которого, однако, ждали духовного пробуждения и нравственного совершенства. Наступала эпоха романтизма. Для романтиков ум, равно рациональный (просветители) и мистериальный (масоны), оказался опорочен плодами века Просвещения, и они с полным доверием отнеслись к голосу сердца, в котором слышали песню любви к Богу и ближнему. «Все ранние романтики вдохновлялись

сознанием надвигающейся духовной революции, все они были врагами Просвещения и поклонниками средневекового католицизма, а многие из них нашли свою духовную родину в Католической Церкви»<sup>124</sup>.

Отстававшее на полшага от Европы, образованное русское общество оказалось вполне податливым для модных европейских веяний. «Это была вряд ли не самая высшая точка русского западничества. Екатерининская эпоха кажется совсем примитивной по сравнению с этим торжествующим ликом Александровского времени, когда и самая душа точно отходит в принадлежность Европе»<sup>125</sup> – Европе Революции, Бонапарта и... Новалиса. Пути жизни в это время избирались очень разные.

Впрочем, о. Георгий Флоровский лишь отчасти прав, говоря об уходе «души России» к Европе. Процесс обращения к вере был более сложным. Высшее дворянское общество, самые тонкие умы его, действительно зачитывались мистическими сочинениями Экхарта, Бёме, Фомы Кемпийского, богословием Арндта, Горнбекия, но в 1793 году был издан первый славянский перевод «Добротолубия», уже были написаны творения святителем Тихоном Задонским, возрождены запустевшие монастыри Валаама, Коневца, Оптиной пустыни, а в Нямецкой обители Молдовы преп. Паисий Величковский создал к этому времени не только переводческую школу, но и школу «умного деланья», которой вскоре суждено будет одухотворить возрождающееся русское монашество. Религиозное пробуждение конца XVIII – начала XIX века отнюдь не есть лишь подражание западному романтизму. Скорее это начало новой эпохи, эпохи духовного алкания, тоски по вере и обретения веры, практически синхронно проявившихся и в западном, и в православном христианстве. Историк культуры может поставить рядом преподобного Серафима Саровского и Арского пастыря Жан-Мари Вианнея, Макария Оптинского и туринского каноника Джузеппе Коттоленго, великого Алексея Хомякова и блистательного Жозефа де Местра.

Взойдя на престол, Александр в 1803 году назначил обер-прокурором Синода своего близкого друга, князя Александра

Николаевича Голицына. Назначение это было совершенно в духе первого десятилетия Екатерининского царствования, когда в издевку над Церковью обер-прокурорами назначались или крайний антиклерикал Иван Мелиссино (1763 – 1768), или хам, вор и безбожник бригадир Чебышев (1768 – 1774). Голицын даже в беспутной вольтерьянской среде конца Екатерининского царствования слыл крайним вольнодумцем и редким беспутником. «Маленький Голицын, – вспоминал князь Адам Чарторыйский, – в то время, когда мы с ним познакомились, был убежденным эпикурейцем, позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения, даже с весьма необычными вариациями»<sup>126</sup>. Однако таинственна душа человеческая! Если вольнодумные обер-прокуроры Екатерины глумились над Православной Церковью, то князь Голицын в порыве страха Божьего умолял Императора не назначать «его недостойнство» на столь высокий пост, но раз назначенный, твердо решил изменить весь строй своей жизни и преуспел в этом до того, что через несколько лет его не могли узнать в свете. «Маленький Голицын» стал богобоязненным церковным человеком, которого невозможно было упрекнуть ни в какой безнравственности. Вот он – дух времени. И дух этот явил себя не только в князе Александре Голицыне, но и в самом Императоре Александре Павловиче. Убитый отец со временем победил в сыне бабку-вольтерьянку.

До 34 лет Император Александр не имел никаких глубоких религиозных представлений. В 1812 году он со стыдом признался Голицыну, что никогда не открывал Священного Писания, не имея на то времени, но только слушал его за Богослужением в церкви<sup>127</sup>. Характерное свидетельство о религиозных настроениях Императрицы Екатерины, организовавшей обучение внука, да и протоиерея Андрея Самборского, выбранного бабкой учителем Александра Павловича в Законе Божьем. «Что касается воспитания в духе истинного, сердечного благочестия, – рассказывал позднее, в сентябре 1818 года, Император прусскому лютеранскому епископу Эйлерту, – то при Санкт-Петербургском дворе было, как почти везде, – много слов, но мало духа, много внешней

обрядности, но самое святое дело Христианства оставалось от нас сокрытым. Я чувствовал в себе пустоту, и в душе моей поселилось какое-то неопределенное предчувствие. Я жил и развлекался...»<sup>128</sup>

Летом того же 1812 года, пораженный трехкратным знаменем ему девяностого псалма<sup>129</sup>, по совету Голицына Император Александр впервые берется читать Новый Завет по пути на встречу с Бернадотом в Финляндии. Священное Писание восхищает его, в душе Императора свершается переворот. Он уверовал в Бога и во Христа. Теперь до конца жизни Александр Павлович старается ежедневно читать Евангелие, Апостол и книги Ветхого Завета. Такое чтение, «усердное и постоянное вошло в плоть и кровь и стало любимым препровождением времени в свободные минуты императора Александра»<sup>130</sup>. Французская Библия в переводе Ле-Метр де-Саси, которую Император постоянно возил с собой, вся испещрена заметками Государя, подчеркиваниями, условными знаками. Чтение Писания превращается для Александра в постоянную духовную работу<sup>131</sup>. Князь Голицын и глубокий христианский мистик камергер Родион Александрович Кошелев становятся неизменными собеседниками Государя в вопросах веры.

Кошелев оказывал особое влияние на Александра. По возрасту годившийся ему в отцы (Кошелев родился в 1749 году), много путешествовавший по Европе, лично знакомый и состоявший в переписке с виднейшими мистиками Запада – Сведенборгом, маркизом де Сен-Мартеном, Эккартсгаузенем, Лафатером, видный деятель масонства, Кошелев не искал никаких личных выгод в дружбе с Императором и в 1818 году вышел в полную отставку. Но отставка с государственных постов (председатель Комиссии прошений, член Государственного совета, обер-гофмейстер) вовсе не означала прекращения дружеского общения с Государем. Александр поселяет его с семьей в Зимнем дворце и часто проводит вечера в глубокомысленных беседах и совместной молитве с ним и кн. Голицыным. Кошелев являлся первым читателем и редактором многих манифестов и речей Александра, их

доброжелательным критиком (например, знаменитой речи 1818 года в Варшавском сейме). Кошелев в высшей степени был увлечен идеями религиозного просвещения русского народа, стал активным сподвижником Голицына в Библейском обществе. Они сблизились после яркого выступления князя Александра Голицына в защиту Православия в Государственном совете в 1811 году. Родион Александрович Кошелев подошел к обер-прокурору после заседания и сказал: «Почтенный князь, вы так превосходно защищали права Христианства, такое раскрыли чистое ревнование Вашего сердца, что мне было бы очень приятно покороче с вами познакомиться; мало этого, мне бы даже хотелось заслужить ваши приязнь и дружбу»<sup>132</sup>. Скорее всего, именно Кошелев открыл и перед князем, и перед Императором мир европейской высокой мистики и увлек их обоих ею. Император Александр, Голицын и Кошелев оставались ближайшими друзьями до последних дней жизни (Родион Александрович умер в 1827 году).

Война с Наполеоном, грозившая гибелью России, но чудесным образом завершившаяся триумфальной победой и капитуляцией Парижа перед русскими войсками, сделала обращение к вере бесповоротным. Интеллектуальный восторг сердца соединился у Александра с опытом действенной Божьей помощи и стал незыблемым. «Только с тех пор, как христианство стало для меня выше всего и вера в Искупителя сделалась ощутительною во всей силе, с тех пор – благодарение Богу – мир водворился в душе моей. Но я не вдруг дошел до этого. Поверьте мне, я испытал на этом пути много борьбы и сомнений, – говорил Император епископу Эйлерту. – Но пожар Москвы просветил мою душу... и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотою веры, какой я до тех пор не ощущал. Тогда я познал Бога. Во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование только Ему и распространению Его славы. С тех пор я стал другой; искуплению от гибели Европы обязан я собственным искуплением и спасением...»<sup>133</sup>

Подобно виконту Шатобриану или Францу фон Баадеру, русский Император прошел путь ранних романтиков от Вольтера ко Христу. И если для французских и немецких аристократов обращение стало покаянным выходом из революционного кошмара, который они и породили в век Просвещения, то для русского царя, осмелюсь предположить, это был выход из его «интимной революции» – кошмара отцеубийства. А вера, обретенная в метанойе, – самая крепкая вера.

Время после Венского конгресса (1815 год) было эпохой всеобщей глубокой реакции на просвещенческий рационализм. После унижений и притеснений, а то и кровавых гонений на веру в Христа Спасителя верующие умы Европы чувствовали свое единство намного сильнее, чем в эпоху религиозных войн XVII века. «Врага рода человеческого», Наполеона, солдаты которого разрушали монастыри и с удовольствием превращали храмы в конюшни, победила объединенная христианская Европа – и православная Россия, и католическая Австрия, и лютеранская Пруссия, и англиканская Британия. Во Франции после четверти века гонений восстановилась Католическая Церковь и законная королевская династия Бурбонов. Все это способствовало духу христианского единства. Подобно тому как в концентрационных лагерях страшного XX века умирающие христиане причащались из рук священников конфессий, какие были рядом, а те готовы были рисковать жизнью, исповедуя и служа литургию, так и победа над просвещенческой богоборческой силой соединила в начале XIX века верующих людей, а ужасы революции многих и вернули к вере во Христа. Как это всегда бывает во времена гонений, уютные и привычные границы исповеданий утончились и христианская вера предстала единой в мужественном противостоянии безбожию. «Стены между исповеданиями христианскими не доходят до неба», – говаривал митрополит Платон (Левшин) (1737 – 1812).

Император Александр, как и многие русские, воспринял и пережил именно такую веру. Конфессионально оставаясь вполне православным, он был доброжелательно открыт любому человеку, в котором видел светоч живой веры и любви ко Христу. «Какое Вам до того дело, кто как молится Богу! – писал

в 1818 году Император Александр Рижскому генерал-губернатору маркизу Пауллуччи. – Каждый отвечает Ему в том по своей совести. Лучше, чтобы молились каким бы то ни было образом, нежели вовсе не молились». В феврале 1821 года Александр пишет А. Н. Голицыну из Лайбаха: «Конечно, существуют оттенки в наших воззрениях (Александра, прусского короля и австрийского императора. – А. З.) благодаря различным трем вероисповеданиям, присущим каждому из нас, а потому немыслимо, чтобы один из трех делался безусловным судьей двух других. Да благословит лучше Господь всех милостей, позволив всем трем на занимаемых ими престолах так дружно и откровенно спеться по самым различным вопросам, основанием чему послужила любовь ко Всевышнему. Предадимся же с верою Его предначертаниям и Его водительству, стараясь не портить вина и еля чуждыми примесями человеческими»<sup>134</sup>.

Даже в цензурный устав была внесена статья, воспрещавшая сочинения, содержавшие критику одних христианских воззрений с точки зрения иных. «Всякое творение, в котором под предлогом защиты или оправдания одной из церквей христианских порицается другая, яко нарушающее союз любви, всех христиан единым духом во Христе связующий, подвергается запрещению»<sup>135</sup>.

Молитва становится обычным делом Императора. Личный его хирург Дмитрий Климентьевич Тарасов отмечал: «Император был очень религиозен и истинный христианин. Вечерние и утренние свои молитвы совершал он на коленях и продолжительно, отчего у него на верху берца у обеих ног образовалось очень обширное оmozоление общих покровов, которое у него оставалось до его кончины»<sup>136</sup>. Квaker Этьен Греллэ де Мобилье, гостивший у Императора в 1819 году, оставил записки, в которых, в частности, рассказывает не без удивления о навыке долгой сердечной безмолвной молитвы, которым вполне владел и Император, и князь А. Н. Голицын. Во время тайной аудиенции Греллэ и его друга квакера Аллена у Государя в Зимнем дворце Александр сам предложил гостям «общую духовную молитву» и, получив согласие, погрузился в

созерцание, разрешившееся через полчаса потоками слез у всех молившихся и самыми теплыми излияниями взаимной братской любви. «Государь любит в особенности беседовать о внутреннем действии и влиянии Святого Духа, которое он называет краеугольным камнем христианской религии, потому что „если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его” (Рим. 8: 9)», – записал тогда Греллэ де Мобилье<sup>137</sup>. От этих рассказов, в подлинности которых нет никаких оснований сомневаться, веет духом Саровской пустыни, где как раз в те же самые годы подвизался в стяжании Святого Духа преподобный Серафим. Поразительная синхронность!

Долгая сосредоточенная молитва и ежедневное внимательное чтение Священного Писания, строками из которого изобилуют его письма, речи и манифесты, научили Государя самой трудной религиозной науке – личному предстоянию пред Богом. «Я вполне отдаюсь Его предрешениям, и Он один всем руководит, так что я следую только Его путями, ведущими лишь к завершению общего блага»<sup>138</sup>.

«Возносясь духом к Богу, – пишет Император в 1818 году одной из своих конфиденток, графине Софье Ивановне Соллогуб, – я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая к себе на помощь веру, я приобрел такое спокойствие, такой мир душевный, какие не променяю на любые блаженства здешнего мира. Если бы не эта вера, святая, простая, чистая, которая только одна вознаграждает меня за все тяготы, сопряженные с моим званием, что другое могло бы дать мне силы к перенесению его бремени? Обязанности, налагаемые на нас, надо исполнять просто...»<sup>139</sup>

Император продолжает личное религиозное становление с редкой последовательностью и решительностью. Уже в декабре 1812 года он проявляет исключительную заботу не только о своих обездоленных или изувеченных войной подданных, но и о пленных солдатах врага. Молодая польская аристократка, фрейлина русского Двора графиня София Тизенгауз (в замужестве графиня Шуазель-Гуфье), обитательница Вильны, вспоминает, как поражена была она, когда Император, часто



один, без свиты (придворные как могли уклонялись от этих предприятий Государя), посещал в свободное, то есть в ночное, время госпитали города, отыскивая при тусклом чадающем свете редких ламп живых в грудах умерших тел и спасая их от неминуемой гибели. Голодных он посылал на свою кухню с повелением «от брата великого князя» накормить и обогреть несчастных пленных, раздетым давал теплую одежду<sup>140</sup>.

Он отклоняет пожалованный ему Государственным советом, Сенатом и Синодом титул «благословенного», говоря, что наименование это не согласуется с его «взглядами и образом мыслей» и дает его верноподданным «пример, не соответствующий тем чувствам умеренности и духу смирения, которые он стремится им внушить». Указ, отклоняющий титул «Благословенного», заканчивался словами «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как оный сооружен в чувствах моих к вам! Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как я в сердце своем благословляю оный! Да благоденствует Россия, и да будет надо мной и над нею благословение Божие!»

«Достоин примечания, – вспоминает адъютант Императора полковник Михайловский-Данилевский, – что Государь не любил вспоминать об Отечественной войне и говорить об ней, хотя она составляет прекраснейшую страницу в громком царствовании его»<sup>141</sup>. Приехав в Вильну через две недели после занятия ее 15 декабря 1812 года русскими войсками, находясь на вершине славы, Император называл свою победоносную кампанию «несчастной»: «„Я не разделяю счастливую философию Наполеона, и эта несчастная кампания стоила мне десятка лет жизни”». «Это великодушное сердце не могло радоваться своим успехам при виде страданий всего человечества», – объясняет слова Императора его проницательная собеседница<sup>142</sup>. И действительно, такое отношение к славе можно объяснить, думаю, только глубоким чувством религиозного смирения, которое жило когда-то и в его отце, Императоре Павле Петровиче, избравшем девизом своего царствования слова псалма «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему » (Пс. 113:9). «Глубоким смирением» называет состояние души Александра после обращения и С. Ф.

Платонов<sup>143</sup>. Император «в своих бесконечных путешествиях запрещал устраивать ему какие-либо парадные встречи, выставлять его портреты, статуи, вензеля». Даже когда он, прославленный победитель Наполеона, возвращался в 1814 году в Петербург, готовившийся к торжественной встрече царя, последний, узнав об этих приготовлениях, прислал главнокомандующему, генералу С. К. Вязмитинову, категорический приказ: „Осведомленный о приготовлениях к приему, которые делаются по случаю нашего возвращения, и относясь всегда отрицательно к такого рода приветствиям, я считаю их теперь более излишними, чем когда-либо. Один Всевышний совершил великие деяния, положившие конец кровавой войне в России. Мы все должны преклоняться перед Провидением. Объявите повсюду мою неперменную волю, дабы никаких встреч и приемов для меня не делать”»<sup>144</sup>.

После обращения для Александра характерно было постоянное углубление покаянного чувства, виденья в себе самом первоисточника и собственных своих бед, и бед вверенного ему Промыслом Отечества. В июне 1824 года, узнав во время воинских смотров о безвременной смерти своей очень любимой семнадцатилетней внебрачной дочери Софии (от Марии Нарышкиной), «он сразу страшно побледнел; однако он имел мужество не прерывать занятий и только обмолвился знаменательной фразой: „Я наказан за все мои прегрешения”»<sup>145</sup>. 7 ноября 1824 года, объезжая разрушенные страшным наводнением кварталы Петербурга и слыша отовсюду вопли «за наши грехи Бог нас карает», Александр велел остановить возок на Галерной и, глядя в глаза обездоленным, осиротевшим людям, сокрушенно сказал: «Нет, не за ваши грехи, а за мои»<sup>146</sup>. Много лет вдумчиво читая Писание, Александр вполне принял эту великую и страшную истину, так часто забываемую сильными мира сего, – за грехи властителей страдают подвластные, за прегрешения царя – весь народ, но и добродетели высших переходят на низших, преображая и очищая их. «Надо побывать на моем месте, чтобы составить себе понятие об ответственности Государя и о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется

дать отчет перед Богом в жизни каждого из моих солдат», – говорил Александр одному из конфиденентов вскоре после обращения – в декабре 1812 года<sup>147</sup>.

Как смиренный паломник посещает он знаменитые обители России, молится подолгу в храмах и на папертях, беседует со старцами. В сентябре 1816 года Александр посещает Киево-Печерскую Лавру. Здесь он приходит в келью слепого иеросхимонаха старца Вассиана, известного своей святой жизнью, беседует с ним с 8 часов вечера до полуночи и исповедуется старцу. Иеромонах Антоний (Смирницкий), бывший свидетелем части этой встречи, писал по горячим следам в письме (от 13 сентября 1816 года), что Вассиан хотел поклониться царю в ноги, но тот сказал ему: «Благословите меня! Еще в Петербурге слышался я о Вас и пришел поговорить с Вами. Поклонение принадлежит одному Богу. Я – человек, как и прочие, и христианин; исповедуйте меня, и так, как всех вообще духовных сынов Ваших». Император запрещает кланяться ему и наместнику лавры, попросив его: «Благословите меня как священник и обходитесь со мною, как с простым поклонником, пришедшим в сию обитель искать путей ко спасению, ибо все дела мои и вся слава принадлежит не нам, а имени Божию, научившему меня познавать истинное величие»<sup>148</sup>. В 1817 году, тоже в сентябрьские дни, Александр, проезжая Киев, вновь более чем на час посетил старца Вассиана.

На одном из островков Валаамского архипелага в память императорского визита августа 1818 года был позднее воздвигнут гранитный крест. Здесь, в Валаамской обители, он выстаивал всю монастырскую долгую вечернюю службу, потом подолгу беседовал за чаем с одним из старцев, а в четыре часа утра, один, без свиты (которая, кстати, в его путешествиях насчитывала всего несколько человек), первым был на паперти у дверей собора, ожидая начала нового богослужения. В 1824 году Император долго молился у мощей Димитрия Ростовского, а потом беседовал со старцем Амфилохием.

1 сентября 1825 года, на рассвете, навсегда покидая Петербург, Император задержался в Александро-Невской

Лавре, долго молился у раки святого князя, а потом беседовал со строгим схимником, старцем Алексием. Напутствуя Царя, старец сказал: «Ты – Государь наш и должен бдеть над нравами. Ты – сын Православной Церкви и должен любить и охранять ее: так хочет Господь Бог наш». «Многия длинные и красноречивыя речи слышал я, но ни одна так мне не понравилась, как краткие слова сего старца»<sup>149</sup>. Из карманов сюртука умершего Александра было извлечено несколько молитв и псалмов, собственноручно переписанных им, всегда носимых при себе и, видимо, постоянно повторяемых.

Александр делает решительный поворот и в своей семейной жизни. В юности, когда Александр был либерален и не религиозен – истинное дитя эпохи революций, – свою доброту и либеральный дух двора Екатерины он перенес и в семейные отношения. Не желая быть семейным деспотом и позволять себе то, что не позволено близким (это Петр, сам ведя распутную жизнь, велел посадить на кол любовника оставленной им жены – Евдокии Лопухиной), Александр с женой Елизаветой Алексеевной полюбовно согласились закрыть глаза на увлечения друг друга и предалися веселому беспутству.

Обратившись к вере, Государь не без труда прекращает романы и увлечения и возвращается к своей давно покинутой супруге. Совершить этот решительный и столь трудный для любого человека шаг ему очень помог профессор Дерптского университета, лютеранин Паррот. Состоя с Государем в интимной переписке, он умолял его вернуться в семью, быть благочестивым правителем и являть пример для своих подданных в семейной жизни, которая есть основа здоровья общественного. «Будьте настоящим человеком, будьте царем, откажитесь от легкомысленных связей», – призывал Императора Паррот<sup>150</sup>. И призыв этот был услышан, понят и оценен. В отличие от своего царственного племянника Александр не злобил на тех, кто делал ему нравственные выговоры, но внимал им и прилагал усилия к исправлению – тоже признак удивительного для венценосца смирения.

Графиня Шуазель-Гуфье сохранила для нас примечательную беседу, которую она вела с Императором в

июне 1822 года в Вильне: «Государь вдруг перешел к колким шуткам по поводу нежных чувств французского Короля к одной придворной даме. „Как! – воскликнул он, – в шестьдесят семь лет у Его Величества Людовика XVIII – любовницы!” – „Ваше Величество, – возразила я, – это любовь платоническая”. – „Я и этого не допускаю. Мне сорок пять лет, тогда как Королю шестьдесят семь, а я все это бросил”. Действительно за последние годы Александр вел примерный образ жизни, и г-жа Нарышкина давно находилась в изгнании в Париже»<sup>151</sup>.

Близкие к семье Государя люди в один голос говорят, что с большой деликатностью Александр восстановил любовь в сердце Императрицы, и последние годы их жизни стали новым *lune de miel*. Придворные в шутку называли в эти последние годы и особенно месяцы царствования царя и царицу – «наши молодые». «Наш ангел на небесах, а я, несчастная, на земле», – писала Елизавета Алексеевна о кончине супруга. Но недолго продолжилось это последнее испытание Императрицы Елизаветы. Жизнь Императрицы закончилась в Белёве, через несколько месяцев после ухода Александра, на возвратной дороге из Таганрога в Петербург.

## **Царствование Александра Благословенного. Продолжение**

## § V

Обретенная горячая вера побуждает Александра по-новому подойти к главным государственным вопросам, которые раньше казались ему неразрешимыми, – конституции и эмансипации крестьянства. “Я обязан Вам многим, – пишет Император Родиону Кошелеву 13 декабря 1815 года, – потому именно, что Вы меня навели на тот путь, по которому я теперь следую убежденно, что привело к достигнутому успеху затеянного дела (победе над Наполеоном. – А. З.) при содействии Всевышнего. Но то, что еще осталось мне сотворить на родине же, вероятно, гораздо труднее достижимо, но это меня не пугает, ибо при помощи нашего Спасителя я теперь считаю все возможным и полагаюсь вполне на Него...”<sup>152</sup>

Духовное одичание стало проклятием русского народа. После Раскола, в который ушла самая активная, думающая, образованная и преданная Богу часть русского общества; после века Просвещения, обернувшегося для крестьян полной утратой и религиозной, и светской образованности, православные подданные великой европейской империи значительно уступали в просвещенности современным им христианам Малабара и коптам Египта, столетиями пребывавшим под властью иноверных правителей.

Итог прост. Даже после осуществления широкой программы просвещения государственных крестьян, предпринятой графом Киселевым в 1840-е годы, после возникновения в 1860 – 1870-е годы сети земских, а потом и церковно-приходских школ в сельской России научить хотя бы читать и писать низшие сословия так и не удалось до самого конца Империи. В 1911 году среди молодых мужчин-рекрутов (а напомним, что в это время воинская повинность была всесословной и в армию призывали равно и дворян и крестьян, и русских и евреев) процент неграмотных достигал 61,7, в то время как в Германии – 0,02, в Швейцарии – 0,5, в Великобритании – 1,0, во Франции – 3,3, в Австро-Венгрии – 22,0, в Италии – 30,6<sup>153</sup>.

Русские мужики могли жестоко мстить своим поработителям, как это и случилось во время Пугачевского бунта, но смогут ли они стать ответственными свободными гражданами будущей России? Пока Александр оставался человеком неверующим и уповал только на гражданское образование, он все больше впадал в скепсис. Если намного лучше образованные французы явили себя такими дикарями во время их революции, что должно произойти при эмансипации русского народа?

Однако во время Отечественной войны Император открыл для себя русского простолюдина. “В Москве народная масса встретила его с необыкновенным подъемом патриотического чувства, а дворянство и купечество на приеме во дворце проявили полную готовность жертвовать не только имуществом, но и собой для защиты родины. Александр был поражен мощью народного чувства; он несколько раз повторял „Этого дня я никогда не забуду!” В сущности, он мало ценил то общество, которым управлял; теперь же оно встало перед ним такой силой, которая вызывала его изумление и уважение. Отношение к управляемой среде в нем изменилось коренным образом, и он понял, выражаясь его словами, что „Россия представляет ему более способов, чем неприятели думают”<sup>154</sup>. Соппротивление воинству Наполеона, широко развернувшаяся стихийно партизанская крестьянская война воодушевляли Александра в самые тяжелые дни всеобщего отступления, военных неудач, сожжения Москвы. Когда судьба Империи висела на волоске и объективных поводов для надежды на победу практически не было, царь ощутил в миллионах своих простых подданных, в этих несчастных рабах, – граждан, преданных Богу и Отечеству. С воодушевлением он как-то сказал в те дни, что “будет вести борьбу до конца, что, утратив армию, созовет „дорогое дворянство и добрых крестьян”, отрастит бороду и будет питаться картофелем с последним из своих крестьян скорее, чем подпишет постыдный мир”<sup>155</sup>.

Александр своим новым, просветленным верой взглядом увидел в народе живую и родную ему душу. Но душа эта, добрая и жертвенная, была ужасающе непросвещенной, однако



теперь Александр точно знал из собственного опыта, что надо делать. Он сам в эти страшные августовские дни всеобщего разброда и бегства открыл Бога через чтение Писания и потому желает, чтобы россияне могли читать на родном языке священные книги Нового и Ветхого Завета (сам Государь читал Библию, как мы помним, по-французски) и достигать тех же духовных восторгов и того же нравственного перерождения.

“При Екатерине II, – пишет С. М. Соловьев, – начали учреждаться главные и малые народные училища, но большею частию они существовали только по имени; при Александре даны были этим училищам средства к действительному существованию, причем главные народные училища названы гимназиями, а малые – уездными училищами; сверх того, для первоначального образования учреждены училища приходские; основаны педагогические институты в Москве и Петербурге для образования учителей; вызваны из-за границы профессора; прежде существовавшие университеты – Московский, Виленский и Дерптский – преобразованы, учреждены новые в Казани и Харькове, потом в Петербурге”<sup>156</sup>.

6 декабря 1812 года князем Голицыным основывается Русское Библейское общество, почетным членом которого тут же соглашается быть Государь. “Я с удовольствием принимаю место среди членов Библейского Общества”, – пишет он 15 февраля 1813 года князю Голицыну из военного лагеря под Калишем<sup>157</sup>, дает свой единовременный взнос – 25 тысяч рублей – и определяет ежегодную пенсию обществу в 10 тысяч рублей. В 1819 году Библейское общество издает первый русский перевод Четвероевангелия, в 1820-м – весь Новый Завет, в январе 1822-го – Псалтырь на русском языке, в 1823 году выходит Краткий Катехизис митрополита Филарета (Дроздова), в 1824-м – Пятикнижие Моисеево в русском переводе с Масоретского еврейского подлинника. Одновременно Библейское общество осуществляет переводы Священного Писания на другие языки и наречия Империи, в том числе, несмотря на протесты Римской курии, и на польский. Всего за десять лет издательской деятельности (1814 – 1824) Библейским обществом было издано (и приобретено) 705 тысяч

книг на 43 живых языках, в том числе 448 тысяч книг Священного Писания. Для распространения книг и иной деятельности Общество создает по всей Империи 89 региональных отделений. Помимо этого Библейское общество поощряло издание книжек духовного содержания для народного чтения, осуществляемое княгиней С. С. Мещерской (так называемые Мейеровские брошюры). В 1819 году учреждается Императорское Человеколюбивое общество для духовной и материальной помощи заключенным в тюрьмах и каторжанам. Император горячо поддерживает все эти начинания.

По настоянию князя Голицына Синод в 1818 году принимает строгое постановление, требующее от приходских священников обязательной проповеднической и катехизаторской активности, “дабы преодолеть невежество и суеверия, распространенные в народе”. В 1818 – 1821 годах в Синоде несколько раз проходили расширенные обсуждения мер по претворению в жизнь этого постановления<sup>158</sup>. В 1821 году Синод в подробной инструкции требует от приходских священников регулярно произносить перед своими прихожанами “простые и понятные” проповеди и неукоснительно осуществлять религиозное просвещение церковного народа<sup>159</sup>.

“Государство стремится усилить и обострить религиозные потребности в массах”, – констатирует о. Георгий Флоровский и далее цитирует И. А. Чистовича: “Стремления князя Голицына наклонялись к тому, чтобы вывести русский народ из того усыпления и равнодушия в деле веры, какое казалось ему почти повсюдным, пробудить в нем высшие духовные инстинкты и чрез распространение священных книг ввести в него живую струю внутреннего переживания христианства. Время свободного существования Библейского Общества было с самого начала XVIII столетия единственным, когда светское общество с живым и напряженным интересом устремилось к религиозным предметам, выдвинуло на первый план интересы духовно-нравственного развития народа”<sup>160</sup>.

Закон мимесиса тут же проявил свою силу: “Во всех обнаружилась ревность к Слову Божию и стремление просвещать сидящих в сени смертной. Губернаторы начали

говорить речи, совершенно похожие на проповеди, городничие и градские головы, капитан-исправники с успехом распространяли Священное Писание и доносили о том по начальству в благочестивых письмах, переполненных текстами”<sup>161</sup>.

Сектантов, старообрядцев, русское расцерковленное простонародье и нецерковное масонство, отторгнутых от Православия формально или фактически в XVII – XVIII веках во многом по вине самой государственной, а то и церковной власти, то узко нетерпимых, то чуть ли не безбожных, Император Александр, князь Голицын, Кошелев и узкий круг их единомышленников задались целью воссоединить с Православием, не принуждая к тому людей репрессиями, но подняв Русскую Церковь и государственную власть на такую высоту духовной просвещенности и деятельной ответственности, которые были бы притягательны для самых взыскательных христианских умов и цельбоносны для самых изболевшихся душ. “И разумом и опытами давно уже дознано, – объявлял государственный указ, – что умственные заблуждения простого народа, прениями и народными увещаниями в мыслях его углубляясь, единым забвением, добрым примером и терпимостью мало-помалу изглаждаются и исчезают; увещания должны сами собою и неприметно изливаться к ним из добрых нравов духовенства, а чтоб все сие имело более действия и чтоб они лучше почувствовали обязанности их к правительству, прежде всего нужно бы было дать им самим приметить, что оно о них печется. Просвещенному ли правительству христианскому приличествует заблудших возвращать в недра Церкви жестокими и суровыми средствами?”<sup>162</sup>

Именно поэтому в общеобразовательных и библейских начинаниях Императора Александра и князя Голицына самое живое участие принял величайший архиерей этого царствования, давно почитавшийся народом в лике святых и наконец канонизированный в 1995 году митрополит Филарет (Дроздов). Об отношении святителя Филарета к русской Библии и к воссоединению с полнотой Матери Церкви отпавших от нее мистиков, масонов, раскольников и сектантов очень точно пишет о. Георгий Флоровский: “Филарет не верил в пользу и

надежность суровых запретительных мер, не торопился вязать и осуждать. От заблуждения он всегда отличал человека заблуждающегося, и с доброжелательством относился он ко всякому искреннему движению человеческой души. В самих мистических мечтаниях он чувствовал подлинную духовную жажду, духовное беспокойство, которое потому только толкало на незаконные пути, что „не довольно был устроен путь законный” Прежде всего нужно наставить, вразумить, – о такой положительной и творческой борьбе с заблуждениями прежде всего и думал Филарет. Под покровом мистических соблазнов он сумел распознать живую религиозную потребность, жажду духовного наставления и просвещения. Потому и принял он участие в работах Библейского общества с таким увлечением. Его привлекла самая задача, ему казалось, что за библейское дело должны взяться церковные силы, – „да не отыметса хлеб чадом” В обновляющую силу Слова Божия он твердо верил. С библейским делом, с русской Библией он неразрывно и самоотверженно связал свою жизнь и свое имя”<sup>163</sup>.

30 августа 1814 года Император издает указ о реформе духовных училищ. Следуя советам митрополита Филарета и собственным новым убеждениям, Александр объявляет целью церковной школы “образование внутреннего человека”, чтобы внушить живое и твердое личное убеждение в спасительных истинах веры. “Внутреннее образование юношей к деятельному христианству да будет единственной целию сих училищ”, – провозглашал указ. Стараниями Императора и владыки Филарета начиналось возрождение богословия и церковного служения, неразрывно соединенного с образованностью и сердечной верой, образовывалось принципиально новое поколение священников – *pectus est quod facit theologum*<sup>164</sup>. Верным последователем Филарета и в отношении русской Библии, и в воспитании сознательного сердечного благочестия юношества был сменивший его в 1819 году на посту ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрит Григорий Постников, будущий митрополит Новгородский (умер в 1860 году).

Этот первый период после обращения был у Александра радостным и светлым. Во внешней политике он был окрашен в тона триумфальной победы над “корсиканским чудовищем”, небывалым величием России. Во внутренней – ознаменован надеждой на преображение Отечества столь же скорое, как и его собственное преображение. Александр тогда пребывал еще в новоначальной благодати обращения и не видел “глубин сатанинских” в людских душах. Уроки Лагарпа не вовсе выветрились из его головы. Руссоистский идеал человека, благого и мудрого, которому надо только “припомнить” естественные для него нравственные основания, не омрачался еще в тридцатилетнем Государе тенью бездн Адамовой падшести, но только поднимался на небывалую высоту в христианском богоподобии, богосыновстве. Церковь, Священное Писание, поучения благочестивых христиан должны были актуализировать эти естественные для человека интуиции.

## § VI

Обратившись к Богу, Император Александр не ограничился стремлением к просвещению своего собственного народа. Из жестокой и кровавой войны с Наполеоном он вынес убеждение, что и в международные отношения обязательно должен быть возвращен дух христианства. Его новообретенная пламенная вера не оставляла места скепсису. Позднее царь рассказывал епископу Эйлерту, что идея Священного Союза родилась во время отступления русских и прусских войск после успешного для наполеоновской армии сражения под Бауценом (май 1813 года). Император и прусский король Фридрих-Вильгельм ехали рядом верхом, удрученные военной неудачей. Оба они были глубоко религиозны, обоим противостоящий им Наполеон виделся как “*ce diable d’homme*”, разрушающий божественный миропорядок и развращающий души богоотступничеством. Во время этого грустного пути Александру вдруг ясно пришло на сердце, что победить узурпатора они могут, только дав обет нерушимого христианского союза, в котором низкому политиканству будет противопоставлена любовь, сатанинской алчности и гордыне – поиск всеобщей духовной пользы, а своекорыстию – заповеди Божии. Как частный человек, глубоко принявший основания христианской веры, сознает истинность слов Спасителя: “Без Меня не можете делать ничего” (Ин. 15:5) – и старается все свои отношения с другими людьми строить на евангельских принципах любви и жертвы, понимая, что, имея союзником Бога, ему никто не страшен и никто не может повредить: “На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?” (Пс. 55:12), так же и уверовавший Государь осознал ужасы бесконечных революций и войн, беспрерывно сотрясавших Европу в течение четверти века (1789 – 1814), унесших бесчисленное множество молодых жизней и разоривших многие государства как результат отхода христианских народов от основополагающих принципов веры Христовой. И если для богоборцев революционной Франции и для узурпатора Бонапарта такой отход был хотя и пагубен, но

естественен, то для монархов Европы “милостью Божией” и для повинующихся им народов он был явно греховен, очевидно вступал в противоречие с зиждительными национальными принципами и должен был быть исправлен как можно скорее. Так рассуждал Александр, и именно эти его возвышенные мысли легли в основание Священного Союза<sup>165</sup>.

Александр открыл свой помысел Фридриху-Вильгельму, и тот вполне принял его. “Если Бог благословит наши планы, – с романтической пылкостью сказал он Александру, – мы сможем однажды в будущем восславить Господа пред всем миром!” Монархи горячо пожали друг другу руки, принесли тайный обет Всевышнему и обнялись в знак взаимной верности. Вскоре, после двухмесячного перемирия, в военных действиях наступил решительный перелом. Битва Народов под Лейпцигом решила исход войны и освятила складывающийся религиозный союз христианских государей. Короткий текст трактата Священного союза Александр написал собственноручно и предложил королю Фридриху-Вильгельму и императору Францу. Почти наверняка он советовался при работе над ним со своими сердечными друзьями Голицыным и Кошелевым, и именно через них масонские идеи братства христианских государей и народов так ясно обозначились в трактате.

Вспомним, что в “Новом начертании истинной теологии”, изданной в Москве в 1784 году, так объявлялись обязанности христианских государей: “Верующие Владыки всего мира принесут себя в жертву Богу и друг с другом соединены будут; понеже они общими силами стремиться будут распространять и приуготовлять царство Иисуса Христа и Его Божественной и духовной любви во всем мире чрез Его любви дух и по Его любви воле Они будут взирать на себя как на рабов и чад Божиих и как на надзирателей и отцов всех своих подданных, и как таковые будут они стремиться детские свои должности в рассуждении Бога и все свои отцовские должности в рассуждении ближнего всегда исполнять”<sup>166</sup>.

26 (14) сентября 1815 года три государя – австрийский и российский императоры и король прусский – подписали “небывалый в истории дипломатии документ”<sup>167</sup> – “Трактат

братского Христианского союза”, к которому мог присоединиться любой христианский народ Европы. Совершенно не случайно, что Александр предложил подписать “Трактат...” в день празднования Воздвижения Креста Господня. Подобно древнему императору Константину, он и его венценосные союзники вновь воздвигали над обезумевшим от безбожия миром спасительный Крест Христов, “дабы всем и каждому исполнить обет служения Единому Господу Спасителю, изреченный в лице Государеве за весь народ”. 25 декабря того же года “Трактат...” Союза торжественно зачитывался по повелению Александра во всех храмах и молитвенных домах Империи. Текст “Трактата...” должен был быть вывешен на всеобщее и вечное обозрение во всех церковных зданиях и ежегодно всенародно оглашаться в храмах в день праздника Крестовоздвиженья. По убеждению Александра, “Братский союз” открывал новую эру, возвещал рождение “христианской федерации народов”. И действительно, текст был составлен в таких выражениях, что чтение его с амвона вовсе не казалось неуместным. “Вступившие в Союз монархи согласились как в управлении собственными подданными, так и в политических отношениях к другим правительствам руководствоваться заповедями Святого Евангелия, которые, не ограничиваясь приложением своим к одной частной жизни, должны непосредственно управлять волею царей и водительствовать их деяниями как единственное средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающее их несовершенство. Вследствие сего положили: соединиться узами неразрывного братства и оказывать друг другу во всяком случае, во всяком месте взаимную помощь и доброжелательство, подданных же своих считать как бы членами одного семейства и управлять ими в том же духе братства для сохранения веры, правды и мира”<sup>168</sup>.

Декларация эта была столь невероятной в циничном и расчетливом мире международных отношений, что многие дипломаты старой школы отказывались верить в прямой смысл провозглашенных в ней намерений и искали скрытые за красивыми фразами или корыстные планы всех союзных



государей вкупе, или попытку одних одурачить других. “Кое-кто из либералов видел в ней даже скрытый заговор монархов против их народов с целью предотвратить и сокрушить зарождающееся революционное движение”. Но в действительности “эта декларация свидетельствовала о лучших намерениях Александра и последовавших за ним монархов”<sup>169</sup>.

Для русского Императора создание нового международного сообщества было делом нравственно первостепенным. О его причинах он говорил и писал многократно и в частных, и в публичных выступлениях. Давая инструкции русскому послу в Лондоне графу Х. А. Ливену, он в секретной депеше собственноручно указывал: “Я и мои союзники, проникнутые великой идеей, определявшей события последней европейской битвы, желают действенной, чем раньше, использовать в гражданских и политических отношениях между государствами принципы мира, согласия и любви, проистекающие из христианской веры и нравственности Уже давно та чрезмерная осторожность, с которой применялись эти спасительные принципы, должна была удивить любого непредвзятого человека, и одной этой опасливой осторожности мог он приписать те следовавшие одно за другим бедствия, которые поражали мир в течение всех последних лет. Однажды поколебав основание, на котором зиждется святость клятв, лишив безусловности заповеди братства и любви – истинный источник всякой гражданской свободы, – сделав все это, нельзя было льстить себя надеждой, что можно трудиться с пользой ради спасения народов без всецелого возвращения к этим принципам, без торжественного признания их значимости и подчинения им и монархов, и вверенных им народов”<sup>170</sup>.

О том же говорил Император Александр, выступая перед московским дворянством 16 августа 1816 года: “Мы не можем утверждаться на сем возвышении (ведущей державы мира. – А. З.) без исполнения Закона Божия. Мы имеем Его приказания в Новом Завете. – Я много обозрел государств и разных народов – и сам очевидный вам свидетель, что такое народ, исполненный веры, и каков тот, который без закона. Вы знаете,

какие там следствия от того произошли. Я уверен, что и вы также об этом думаете..."<sup>171</sup>

На Веронском конгрессе в 1822 году русский Император объяснял в частной беседе основополагающие принципы российской внешней политики французскому министру иностранных дел, умнейшему и благочестивому виконту Шатобриану, который сохранил запись этой беседы в своих воспоминаниях: "Теперь, когда образованный мир находится в опасности, не может быть и речи о каких-либо частных выгодах. Теперь уже не может быть более политики английской, французской, русской, прусской, австрийской: существует только одна политика, общая, которая для спасения всех должна быть принята народами и государями. К чему мне расширять свою Империю? Провидение предоставило в мое распоряжение восемьсот тысяч солдат не для удовлетворения моего честолюбия, а для того, чтобы я покровительствовал религии, нравственности и правосудию и способствовал утверждению этих начал порядка, на коих зиждется человеческое общество"<sup>172</sup>. Канцлеру Австрийской Империи князю Меттерниху Александр писал несколькими месяцами позже из Пильзена: "Вся моя жизнь, насколько это зависит от меня, посвящена только заботам о действительном преуспевании общественного блага Европы (*de la chose publique euroripenne*)"<sup>173</sup>.

Русский Государь вовсе не был наивным, восторженным юношей, когда провозглашал принципы Священного Союза или когда семь лет спустя объяснял виконту Шатобриану цели русской внешней политики. Император был к этому времени очень опытен, искушен и даже хитер. Он прекрасно помнил, например, как посланец Наполеона во время Ста дней привез ему тайную военную конвенцию против России, подписанную Талейраном, Меттернихом и лордом Кестльри 3 января 1815 года, найденную на письменном столе бежавшего из Тюильри Людовика XVIII. Но для облика Александра существенно то, как поступил он с этим обличающим двуличие союзников документом. Вызвав Меттерниха и показав ему конвенцию, он на глазах у остолбеневшего австрийца бросил ее в огонь

камина и обещал никогда больше не вспоминать о ней. Александр отнюдь не был наивен – он был мудр той высшей мудростью, которая твердо знает, что хитрость и ложь приносят хотя порой и яркие, но по существу гнилые и негодные плоды и только дело правды долговечно. “Надо мстить лишь воздавая добром”, – любил повторять Александр<sup>174</sup>. И удивительно было то мужество, с которым он проводил этот свой принцип в жизнь, невзирая на злобу врагов и подвохи союзников.

Уже “Трактат...” Священного Союза ясно показывал, что международные отношения Александр полагал производными от отношений внутренних, от того духовного строя, который преобладает в государствах Союза. Христианская вера народа и христианские отношения между монархами и “их” народами – вот истинное основание международных отношений для русского царя, и прочным оно может быть только тогда, когда граждане благочестивы и богобоязненны, а государи ищут не своего блага, а блага народного, как хороший отец служит своим детям, а не использует детей для удовлетворения своих прихотей. Монархия для народа, а не народ для монархии. Запомним эту Александрову формулу, ей будет суждено претерпеть головокружительное превращение в России в течение XIX века.

А пока, беседуя с епископом Эйлертом, Александр раскрывает смысл библейского просвещения России, столь энергично начатого им и князем А. Н. Голицыным сразу же после капитуляции Наполеона. Оказывается, как записывает прусский епископ слова российского Императора, деятельность Библейских обществ в России находится в теснейшей связи со Священным Союзом и непосредственно исходит от него. “К чему поведет Священный Союз, заключенный европейскими государями, если начала, положенные в его основание, останутся изолированными и не проникнут в сердце народов?” – риторически вопрошал русский царь<sup>175</sup>. Сознательный, образованный, духовно просвещенный, политически ответственный гражданин – вот цель и одновременно главный будущий субъект Христианского Союза. Распространяя на понятном народу языке Священное Писание в России,

Император преследовал не только цель внутринациональную (возрождение забитого и оскотинившегося в рабстве народа), но и общеевропейскую. Он понимал, что Россия потенциально является важнейшей конструктивной частью, возможно, краеугольным камнем будущей союзной христианской Европы, и без нее такой союз вряд ли вообще возможен, но актуализировать эту важнейшую потенцию можно, только создав в России настоящее гражданское и политическое сообщество свободных и самоответственных людей, строящих свои отношения на сознательном приятии положений христианской веры и нравственности.

В международных отношениях Император, где мог, проводил те же принципы легитимности, гражданственности, нравственности и веры. Он сформулировал главный принцип союзников в отношении к поверженному врагу. “У нас только один враг во Франции. Это – Наполеон”, – объявил он на встрече с французскими сенаторами в Париже<sup>176</sup>. Восстанавливая во Франции династию Бурбонов, именно Александр настоял на том, чтобы Людовик XVIII дал народу конституцию и законодательное собрание. В отличие от войны 1941 – 1945 годов и даже 1914 – 1918, ненависть к народу враждебной державы не только не культивировалась, но всячески пресекалась. Зимой, на редкость суровой, 1812 года Александр велел раздавать милостыню пленным голодным и замерзающим французам, лечить, кормить и обогревать их. Он и сам всегда приходил на помощь, когда видел страдания пленных: “Чтобы избавить чувствительные взоры Императора от картины бедствий, причиненных этой жестокой войной, был составлен новый маршрут, удалявший его от пути, по которому следовали армии. Тем не менее он встретил на дороге нескольких несчастных заблудившихся французов. Он давал им вспомоществование или сажал их в свои сани. Так он привез больного французского солдата в принадлежащий моему отцу замок Постава. Император ночевал там, оставил несчастному денег и просил позаботиться о нем”, – вспоминала графиня Шуазель-Гуфье<sup>177</sup>.

В обращении к русским воинам на Рейне, перед вступлением их на землю Франции, Император воззвал не к ненависти, не к памятозлобию и чувству мести, но ко всепрощению и милости. “Неприятели, вступая в средину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь. Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их. Понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку”. И русская армия повиновалась своему Государю. “Русские „варвары”, пришедшие в столицу Европы – Париж, оказались гораздо более цивилизованными, чем французы и иные европейцы, явившиеся в столицу „варваров” – Москву”, – отмечает С. Г. Пушкарёв<sup>178</sup>. “Военная дисциплина так строго соблюдалась в русской армии, что один солдат был наказан смертью за то, что при вступлении в Париж он взял (вероятно, с голоду) хлеб с лотка булочника: офицер, заставший его при этом врасплох, тут же застрелил его. В самый день своего вступления в Париж русские войска дали поразительный пример повиновения. Император Александр был в театре, когда ему доложили, что расположившаяся в Елисейских полях императорская гвардия еще не получила харчей и что солдаты начали роптать. Император тотчас вышел из своей ложи, призвал французских чиновников и дал им понять, что он не отвечает за беспорядки, которые могут возникнуть, если оставят его войска без съестных припасов. Таким образом, русские солдаты, на глазах которых французы разграбили их родину, – солдаты эти, одержав в свою очередь победу над Францией, провели целый день без пищи и, несмотря на усталость и голод, не позволили себе никакого насилия”, – рассказывает София Шуазель-Гуфье<sup>179</sup>.

Даже вечно язвительный маркиз Астольф де Кюстин не смог не воздать должное Императору Александру, “который сохранил благородство при въезде в город, только что покинутый Наполеоном”<sup>180</sup>.

Когда в 1818 году русские войска уходили из оккупированных районов Франции, города и коммуны подносили им благодарственные адреса за человеколюбивое обращение с

побежденными, а в честь командующего оккупационным корпусом графа Михаила Воронцова жителями Мобежа была даже выбита специальная медаль. Тогдашнее поведение русских солдат на оккупированных землях врага как небо от земли отличалось от варварских бесчинств советских воинов, творивших “пир победителей” в оккупированных в 1945 году Германии и других странах Центральной Европы.

В 1821 году вспыхнуло восстание в Греции и началась война за ее независимость от Османской империи, но Александр, несмотря на то что он в этом вопросе пошел против всего общественного мнения России, горячо сочувствовавшего “единоверным братьям”, отказался ввязываться в войну. Его мало беспокоило, что другие державы, а не Россия обретут влияние в будущем независимом греческом государстве, хотя для России такое влияние наиболее естественно (бабка Екатерина даже назвала своего второго внука Константином, ожидая, что он восприимет престол византийских василевсов и коронуется с литером Константин XII). Александра намного больше волновал принцип законности. Подданные не должны раскалывать империи, но если они управляются плохо и несправедливо, то должны быть улучшены формы управления в рамках существующих границ. Греки управлялись Портой в целом вполне справедливо. Эсцессы, и эсцессы жестокие, возникали именно по причине борьбы за независимость, как следствия взаимного ожесточения. Император это прекрасно знал и очень строго наказывал тех своих греческих подданных – “гетеристов”, которые уезжали помогать соплеменникам в Морею. Разницы между православным царем и мусульманским султаном он в исполнении принципа легитимности не видел никакой. Какое отличие от 1877 и 1914 годов!

“В мои политические виды не входят никакие проекты расширения моего государства, настолько большого, что оно уже возбуждает внимание и зависть других европейских держав, – объяснял Император Александр графине Шуазель-Гуфье свою политику. – Я не могу и не хочу благоприятствовать восстанию греков, ибо такой образ действий противоречил бы принятой мною системе и неизбежно разрушил бы тот мир, который мне

так трудно было водворить, – мир, столь необходимый Европе”<sup>181</sup>.

Александр совершенно чужд был “готтентотского принципа”: если отбирают у меня – это плохо, если я отбираю у других – это хорошо. Он явно руководствовался высшим христианским принципом – не только взаимности, но и жертвы, помня, что “блаженней давать, нежели принимать” (Деян. 20:35). Он, освободитель Европы от Наполеона, взял для России существенно меньше, чем два освобожденных им его союзника – Австрия и Пруссия. Пруссия по Венскому миру получила земли с населением 5,4 миллиона человек, Австрия – 10 миллионов, а Россия – 3 с небольшим миллиона новых подданных, подавляющее большинство которых были поляки, получившие в Российской Империи совершенно особый статус.

Александр фактически руководствовался мудрым принципом, через сто с лишним лет сформулированным Тойнби: “Когда общество, отмеченное явными признаками роста, стремится к территориальным приобретениям, можно заранее сказать, что оно подрывает тем самым свои внутренние силы”<sup>182</sup>. Прекрасный ответ на огнеопасные фантазии геополитиков и безумные притязания адептов “естественных границ”!

Александр милостиво принял в Париже депутацию польской армии, сражавшейся в числе “двунадесяти языков” в рядах войска Наполеона, простил ее солдат и офицеров и даже похвалил некоторых воинов за храбрость и мужество. Те поляки и литовцы, которые, уже будучи русскими подданными, изменили присяге и перешли к Наполеону (так поступила значительная часть польско-литовской аристократии Империи), были прощены и их было конфискованные владения полностью возвращены. Вчерашние враги были приняты им на службу и составили армию Польского королевства, во главе которой Император поставил своего брата Константина – Цесаревича и второе лицо в Российской Империи. Александр прекрасно помнил те жестокости, которые польские войска творили в России, – грабежи и мародерства Смоленска, Москвы, Вязьмы. Помнил, но предпочел забыть об этом и призвал к забвению

прошлого свой народ. Еще 25 декабря 1812 года в только что освобожденной Вильне он обратился к полякам: “Вы опасаетесь мщения – не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит”<sup>183</sup>. И действительно, перейдя Неман, русские армии поразили местное настороженное и большей частью враждебное население своей корректностью и даже благорасположенностью. Русские больше походили на союзников, чем на завоевателей.

Ставя на Венском конгрессе вопрос о будущем Польши, Александр воспротивился простому восстановлению границ Третьего раздела Речи Посполитой, но добился сохранения Герцогства Варшавского, воссозданного Наполеоном в 1807 году как национального польского государства, в котором “поляки будут иметь народных представителей и национальные государственные учреждения” (трактат между Австрией, Пруссией и Россией о Польше от 21 апреля (3 мая) 1815 года). Воссозданное Польское королевство только личностью монарха было объединено с Российской Империей. Во всех прочих отношениях королевство являлось самостоятельным государством. Самодержавный Российский Император в Варшаве был конституционным монархом и очень ценил и оберегал этот свой ограниченный законом статус.

Хотя в будущем Россия намучилась сполна со своим польским приобретением, которое желало не унии, но полной независимости, политический план Александра в польском вопросе отнюдь не был аннексионистским. Австрия и Пруссия, боясь потери своих польских владений (Галиции, Силезии, Померании, Познани), никогда бы не пошли на воссоздание независимой Польши, и потому автономная Польша в унии с Российской Империей была единственной в тех обстоятельствах возможностью для поляков сохранить некую национальную государственность. Беседуя с представителями виднейших польских фамилий в имении князя Чарторыского в Пулавах, Александр объяснял собравшимся: “У Польши три врага – Пруссия, Австрия и Россия. И один друг – это я”. Польская аристократия понимала это и, сжав зубы, согласилась на план Александра. 4 мая 1815 года Александр подписал в Вене



проект будущей конституции Польши, составленной князем Чарторыским, и через пять дней в Варшаве состоялось торжественное восстановление Польского королевства. Белокрасные знамена с увенчанным золотой короной белым польским орлом вновь украсили правительственные и административные здания. 15 ноября 1815 года Император Александр, самодержавный монарх всероссийский, торжественно поклялся за себя и своих потомков соблюдать польскую конституцию.

Более того, воссоздав Польшу, русский царь решил передать бывшие польские земли, присоединенные Екатериной, обратно Польскому королевству. Своего старого друга и конфидента Николая Новосильцева он попросил подготовить перевод с латинского актов 1413 и 1551 годов о присоединении Княжества Литовского к Польше и многократно говорил о своих планах расширения на восток конституционного королевства. Даже обычно лояльные подданные возражали и противились этим планам, а царь успокаивал их – “ничего, у России и так земель много”. Возмущенный Карамзин 17 октября 1819 года подал Александру специальную записку “Мнение русского гражданина”, в которой убеждал царя, что возвращение Польше когда-то отнятых у нее земель “дело равно бедственное и несправедливое”. Но Государь оставался при своем мнении до конца царствования. Он был уверен, что под русской короной поляки не смогут притеснять православное население Волыни, Подолии и Чернороссии, но зато быстрее цивилизуют край, в нем исчезнет крепостное право, народ сможет привыкать к конституционным формам политической и гражданской жизни.

Император обладал счастливым даром видеть международные отношения и внутреннюю политику как аспекты единого процесса, который он желал направлять ко благу и своих подданных, и других народов Европы.

## § VII

Одновременно с учреждением Священного Союза в международных отношениях Александр поручает двум ближайшим и вернейшим своим сотрудникам и друзьям – графу Алексею Аракчееву и Николаю Новосильцеву – составить новые проекты освобождения крестьян и Российской конституции.

Историки, вслед за общественным мнением его эпохи, обычно винят Императора Александра в непоследовательности, внутренней противоречивости – он велел готовить проекты фундаментальных и столь необходимых преобразований российского общества, а потом клал их под сукно, не давал им хода; он публично и в частных беседах обещал проведение реформ, но на практике не осуществлял их. Злые языки называли его даже “актером”, одержимым единственно тщеславием. Все это бесконечно далеко от истины. Даже сам религиозный строй Александра, его письма близким друзьям, проникнутые глубоким чувством ответственности перед Богом за вверенную ему страну, заставляют искать серьезные и глубокие мотивы государственной деятельности Императора. Часами молящийся на коленях, ежедневно читающий Священное Писание, глубоко образованный и, безусловно, умный человек, обладающий к тому же самодержавной властью над огромной Империей, просто не может руководствоваться в своих деяниях жалким тщеславием. Да и о смирении Александра нам уже приходилось приводить немало свидетельств. Тем более, что “многие его решения и поступки в важных вопросах вели не к росту его популярности, а к ее падению, чего он, как умный человек, не мог не видеть, – пишет С. Г. Пушкирев. – Его антипатия к крепостному праву, хотя бы только на словах, не могла способствовать популярности у окружавшего его крепостнического дворянства, а крестьяне о ней, разумеется, ничего не знали... И какое мы имеем основание утверждать, что его стремление к преобразованию государственного строя в России было притворным? Перед кем он позировал, когда, сидя в своем кабинете наедине со

Сперанским, обсуждал подробности будущей реформы?.. И еще одно. Почти все актеры политической сцены, начиная от римских цезарей и кончая диктаторами XX века – Муссолини, Гитлер, Сталин, – чрезвычайно любили самопревозношение, помпу, хвалебные славословия и раболепное преклонение толпы... Александр начисто отвергал все это”<sup>184</sup>. Мономаховым венцом Александр все время тяготился, все время мечтал снять его. В этом он признавался графине Шуазель-Гуфье в декабре 1812 года, когда, разгромив бесчисленные армии Наполеона, триумфатором-освободителем въехал в Вильну (“Нет, престол – не мое призвание, и если б я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал”<sup>185</sup>), об этом же говорил брату Николаю и его молодой супруге весной 1819 года. Отвращение к верховной власти Император смирял только чувством долга и повиновением Божьей воле.

Так чем же, раз легкомысленность и тщеславие отсутствовали, можно объяснить непоследовательность Александра в проведении реформ? Думаю, здесь есть два обстоятельства. Во-первых, Государь не был так уж непоследователен. Те идеи, с которыми он начал царствование, владели им и в последние месяцы правления. На встрече с Карамзиным вечером 28 августа 1825 года, перед отъездом в свое последнее путешествие, Император сказал историку, что “непременно даст коренные законы России”<sup>186</sup>. Русские историки Г. Вернадский, А. Фатеев и В. Леонтович единодушны в том, что “Александр до конца своей жизни хотел продолжать путь либеральных реформ”<sup>187</sup>.

Во-вторых, не следует забывать, что скорость и последовательность реформ в огромной степени зависели от самого русского общества, так сказать, от преобразуемого материала, и, конечно же, от понимания Императором русского общества. С годами понимание сложности задачи возрастало, и вряд ли понимание это было ошибочным. После обращения к вере и обретения духовной глубины созерцания реальности (которая хорошо заметна в письмах Императора) изменяются и методы проведения реформ. Если до обращения Император полагал, что реформа институтов сама по себе изменит дух

общества, то после прихода к вере и лучшего познания действительной русской жизни он убеждается в необходимости духовного преобразования общества как обязательной предпосылки успешных политических реформ. От механистического отношения к обществу он, что и естественно для глубоко религиозного ума, постепенно переходит к отношению органическому. Россия теперь видится ему не механизмом, который легко можно усовершенствовать и столь же легко пустить в дело, как, скажем, ружье новой конструкции, но растением, которое надо терпеливо проращивать, прививать, окуливать, дабы в свое время оно дало добрый плод.

Приобретя в результате войн несколько новых областей на западных границах Империи – Королевство Польское (1815), Великое княжество Финляндское (1808) и Бессарабскую область (1812), Александр утвердил в них законодательные учреждения и конституционные законы. Польша и Финляндия в составе Российской Империи заняли совершенно особое положение независимых государств, связанных с остальной Россией практически только личностью русского царя, являвшегося одновременно королем Польши и великим князем Финляндии. Абсолютный монарх в России, русский царь являлся в Польше и Финляндии монархом конституционным, ограниченным. В Бессарабии, которая не имела традиций своей особой государственности, а входила в вассальное от Османской империи княжество Молдова, Александр сохранил традиционные законы и формы самоуправления, также ограничивавшие его самодержавие. “Жителям Бессарабской области предоставляются их законы”, – объявлялось в первом пункте III главы “Высочайше утвержденного положения о временном правительстве в Бессарабии”. Этими же положениями признавался, в качестве высшего законодательного и судебного учреждения области, существовавший и до присоединения к России Верховный Совет Бессарабии.

Александр ограничивал свою власть во вновь присоединенных странах не с целью их постепенного и более мягкого включения в самодержавную Россию, но, напротив,

предполагая со временем распространить конституционные установления, действовавшие в них, и на основную часть Империи. В своей знаменитой, произнесенной по-французски (дабы русским языком не уязвлять национальные чувства поляков) речи при открытии польского Сейма 15 (27) марта 1818 года (и тут же произносимую по-польски государственным секретарем Царства Польского) Александр не только объявил с высоты трона о создании “законно-свободных учреждений” (*les institutions librales*) в недавно присоединенном королевстве, но и о намерении распространить их на всю Империю:

“Образование (*organisation*), существовавшее в вашем крае, позволяло мне ввести немедленно то [правление], которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости”, – говорил Император польским депутатам<sup>188</sup>.

Напечатанная в русском переводе в правительственном офицозе “Северная почта” (№ 26 за 1818 год), речь эта потрясла русское общество, напугав до крайности одних, озаботив других, окрылив третьих. “Речь Императора в Варшаве, – пишет граф Ростопчин графу С. Р. Воронцову, – ее явные предпочтения полякам и заносчивость этих последних взбудоражили общество; молодые люди просят у него конституции В качестве [предпосылки] конституции рассматривается свобода крестьян, чего не желает дворянство. Оно не захочет ограничить свою власть и оказаться в царстве справедливости и разума”<sup>189</sup>. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: “Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет... Можно будет и припомнить ему, если он забудет”<sup>190</sup>. А. А. Закревский сообщал П. Д. Киселеву 31 марта 1818 года: “Речь Государя, на Сейме говоренная, прекрасная, но последствия [для] России могут быть

ужаснейшие, что ты из смысла оной легко усмотришь”<sup>191</sup>. Одни боялись освобождения крестьян, другие – польского восстания против русской власти, третьи завидовали любви Императора к полякам и польской свободе в деспотической Империи, четвертые отказывались от счастья верить своим ушам, слыша, что и в России близок переход к конституционному правлению. Между тем это “одно из либеральнейших произведений, вышедших из-под пера Александра Павловича”, было, как указывает великий князь Николай Михайлович, изучивший недоступную до того переписку, вдохновлено Родионом Кошелевым, с которым речь тщательно обсуждалась заранее<sup>192</sup>. Речь Александра в Польском Сейме должна была стать программной, эксплицируя план грядущих реформ. И в основе этой программы лежали глубоко продуманные религиозные убеждения, о чем ясно свидетельствует выбор конфидента.

Немедленно вслед за варшавской речью Император поручает Новосильцеву составить проект конституции и для России. В Варшаве была создана специальная комиссия, которая к 1820 году завершила работу и представила Государю “Государственную уставную грамоту Российской Империи”. Анализ этой “Грамоты”, опубликованной через девяносто лет Шильдером, показывает, что польский и финляндский “демократические анклавы” Российской Империи были лишь первыми наместничествами будущей федеративной России, в которых стали уже действовать “законно-свободные установления”. Впоследствии предполагалось всю Империю разделить на такие наместничества, каждое из которых включало бы несколько губерний. В наместничествах должны были избираться свои сеймы (думы), а одна четверть членов местных сеймов избираться из их состава в общероссийский Сейм, в Палату земских послов. “Да будет Российский народ отныне навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в Государственном Сейме (Государственной Думе), составленном из Государя и двух палат. Первую, под именем высшей палаты, образует Сенат, а вторую, под именем Посольской палаты, земские послы и депутаты окружных городских обществ”, – торжественно объявлялось в “Грамоте”.

Статьи 11 и 12 подчеркивали, что “Державная власть неразделима: она сосредоточивается в лице монарха. Государь есть единственный источник всех в Империи властей гражданских, политических, законодательных и военных”. Но следующая, 13 статья объявляла, что “Законодательной власти Государя содействует Государственный Сейм”. “Грамота” объявляла права и свободы российских граждан и фактически за девяносто лет до Основных законов 1906 года вводила в Империи конституционную форму правления, да еще с федеративным устройством государственного пространства. Судя по примеру государственной организации Польши и Финляндии, в наместничествах предполагалось иметь власть, состоящую из местного этнического элемента, пользоваться местными языками, иметь национальные воинские формирования, а в некоторых случаях и собственную денежную систему.

“Государственная Грамота” предполагала утвердить в России основные гражданские свободы в духе поправки Джефферсона к Северо-Американской конституции. Неприкосновенность личности обеспечивалась статьями 81, 82 и 87, а неприкосновенность собственности – статьями 97 и 98. Так, например, 97 статья объявляла: “Всякая собственность какого бы рода ни была, в чем бы ни состояла и кому бы ни принадлежала, признается священной и неприкосновенною. Никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может”. Статья 90 разрешала всем подданным Империи без каких-либо ограничений выезжать за границу, если надо, то и со всем имуществом, и беспрепятственно возвращаться обратно в Россию. Статья 93 позволяла всем иностранцам беспрепятственно приезжать и уезжать из России и приобретать в стране недвижимое имущество. Статья 78 объявляла, что “Православная Греко-Российская вера пребудет навсегда господствующею верою Империи, Императора и всего Императорского Дома. Она непрестанно будет обращать на себя особенную попечительность правительства, без утеснения, однако ж, свободы всех прочих исповеданий. Различие христианских вероисповеданий, – продолжает та же статья, – не

производит никаких различий в правах гражданских и политических”<sup>193</sup>. Таким образом, не снимая некоторых гражданских ограничений с иудеев и мусульман, “Грамота” весьма расширяла сферу свободы совести и удачно сочетала особое государствообразующее значение для России Православной Церкви с принципом религиозной свободы. Для сравнения стоит отметить, что, например, в Швеции переход из лютеранства в католичество до середины XIX века карался смертной казнью. Заключительная часть объявляла, что цель “Уставной Грамоты” – обосновать неприкосновенность личности и собственности и гарантировать ненарушимость гражданских и политических прав.

Г. В. Вернадский, посвятивший “Грамоте” Новосильцева специальное исследование<sup>194</sup>, видит в ней, особенно в части организации государственного пространства, влияние Конституции САСШ<sup>195</sup>, В. В. Леонтович усматривает в системе организации государственной власти общее с Баварской конституцией 1818 года и с конституцией Баденского княжества<sup>196</sup>. Но как бы там ни было, для того времени “Грамота” – современнейший проект, созданный по всем правилам государственно-правовой науки, с безусловным притом учетом неизменяемых факторов русской национальной специфики (пространство, доминирование Православия, многонациональный и многорелигиозный характер страны). Это была не вынужденная обстоятельствами (как Основные законы 1906 года), но свободно подготовленная Конституция грядущей России. Александр предполагал даровать ее вовсе не для удовлетворения какой-то сиюминутной политической потребности (успокоение народа, сохранение шатающегося престола и т. п.), но потому, что действительно был убежден в необходимости для страны перехода от абсолютизма к парламентскому правлению, от полного централизма – к федерализму, от деспотии – к гражданскому сообществу свободных политических субъектов. “Как счастлива страна, – говорил Александр об Англии Софии Тизенгауз, будущей графине Шуазель-Гуфье, – где уважаются права каждой личности и где они неприкосновенны”<sup>197</sup>.



“Законно-свободные постановления, коих священные начала смешивают с разрушительным учением, угрозавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, – говорил Александр в польском Сейме в 1818 году, – не суть мечта опасная, но, напротив, таковые постановления, когда приводятся в исполнение по правоте сердца и направляются с чистым намерением к достижению полезной и спасительной для человечества цели, то совершенно согласуются с порядком и общим содействием утверждают истинное благосостояние народов”<sup>198</sup>.

Очень наивны те историки, которые предполагают, что Император, коли не ввел немедленно конституционный проект Новосильцева в жизнь, то по прочтении тут же охладел к нему. У нас есть точные данные (воспоминания князя П. А. Вяземского, работавшего в группе Новосильцева над проектом и докладывавшего о ходе дел Императору в 1819 году), что “Государь надеется привести непременно это дело к желанному окончанию, что на эту пору один недостаток в деньгах, потребных для подобного государственного оборота, замедляет приведение в действие мысли, для него священной; что он знает, сколько преобразование сие встретит затруднений, препятствий, противоречий в людях...”<sup>199</sup>.

“Уставная Грамота” являлась целью, к которой вел долгий и нелегкий путь. “Затруднения, препятствия и противоречия в людях” вызывал не сам по себе конституционный проект и даже не идея ограничения самодержавной власти – столь высокотеоретически мыслили единицы, может быть, десятки, вряд ли сотни русских граждан, которые не могли вызвать “затруднения” с принятием “Грамоты”. Проблема заключалась в ином. Конституция предполагала освобождение крестьян, предоставление гражданских и политических прав четвертым пятым русских людей, почти или полностью их лишенных. Именно это затрагивало интересы практически каждого россиянина – и раба, и рабовладельца, и тех, кто, сам не являясь ни первым, ни вторым, соприкасался с ними жизнью и делом (например, священство или купечество). Для освобождения, для смягчения последствий эмансипации, а

вовсе не для распубликования текста “Грамоты” и организации работы центрального и областных сеймов потребны были и те значительные для громадной Империи суммы денег, о которых, между прочим, говорил Петру Вяземскому Государь во время отчета князя о работе над “Грамотой”.

Именно эта – социальная, если угодно, – фаза подготовки к введению “законно-свободных установлений” не могла быть быстрой. Она требовала и средств, и многих лет кропотливого труда. Без тщательно подготовленного общества конституция, принятая “на авось”, немедленно обернулась бы новой пугачевщиной и национальной катастрофой, масштаб и детали которой мы теперь, к сожалению, можем себе представить “по аналогии”. Политическая дальновидность Императора, его выдержка и выверенность им своих властных действий – поражает и назидает.

## **Царствование Александра Благословенного. Окончание**

## § VII

В царствование Александра Павловича многие русские аристократы выступали за дворянский парламент при сохранении «просвещенного» крепостного права на крестьян в течение еще долгого времени. Так, председатель Вольного экономического общества и Департамента государственной экономии Государственного совета адмирал граф Николай Мордвинов «был полностью убежден в том, что России прежде всего нужна политическая свобода. Тот факт, что в те времена народное представительство неизбежно должно было быть представительством дворянства, ни в коей мере его не отпугивал. Напротив, в аристократическом составе народного представительства он видел гарантию того, что это народное представительство действительно будет активно и действенно выступать за политические свободы и права, а также за гражданские права и гражданский строй», – отмечал историк русского либерализма В. В. Леонтович<sup>200</sup>. В плане освобождения крестьян, который Мордвинов представил Государю в том же 1818 году, он указывал: «Народу, пребывавшему века без сознания гражданской свободы, даровать оную изречением на то воли властителя – возможно, но знание пользоваться ею во благо себе и обществу даровать законоположением невозможно»<sup>201</sup>. Эти воззрения вполне разделялись Михаилом Сперанским. Н. М. Карамзин, как мы помним, вовсе не видел смысла ни в освобождении крестьян, ни в «законно-свободных учреждениях», пусть даже и аристократических.

Но Император не разделял эти взгляды своих советников. Прекрасно зная русское дворянство, учитывая печальный пятнадцатилетний опыт применения закона о свободных хлебопашцах, да и синхронный западноевропейский опыт, а также практику Польской аристократической республики до ее ликвидации в 1795 году, он был уверен, что, обретя политические права, дворянство не будет делиться с крестьянами ни гражданской, ни политической свободой до тех

пор, пока свободы эти не будут вырваны из его рук революцией. Поэтому, кстати, ряд противников крепостного права высказывались против ограничения абсолютной власти русских самодержцев, полагая, что крестьяне могут получить дар свободы только с высоты трона<sup>202</sup>.

«Конституционное устройство было основным идеалом (Императора Александра и его единомышленников. – А. З.), но идеалом в ближайшее время недостижимым. Главным препятствием для его осуществления являлось, в глазах наиболее серьезных прогрессивных деятелей той эпохи, крепостное право. Но отменить крепостное право считалось в то же время опасным – без просвещения; ввести же просвещение в народные массы при крепостном праве было нелегко, по общему признанию. Получался, таким образом, своего рода заколдованный круг. Выйти из него надеялись лишь путем длительных и упорных усилий»<sup>203</sup>.

Если работа комиссии Новосильцева была секретной и общество про нее ничего не ведало, то первомартовская речь 1818 года в Польском Сейме стала тут же общим достоянием и вызвала одну основную реакцию: «В Москве распространилось мнение, что Государь, изъявляя намерение распространить свободные учреждения Царства Польского на Россию, имеет в виду неотлагательное освобождение помещичьих крестьян. Оттого явились припадки страха и уныния помещики, класс людей, без сомнения, просвещеннейший, ничего более в сей речи не видят, как свободу крестьян...»<sup>204</sup> Знаменательно то, что и в Москве, и в глухой пензенской провинции дворяне понимали, что конституция, парламент и рабство несовместимы.

Только немногие, подобно Императору, видели задачу освобождения и последствия от промедления в ее решении вполне ясно. Флигель-адъютант полковник П. Д. Киселев, прославившийся позднее, уже при Николае Павловиче, на всю Россию как великий реформатор жизни государственных крестьян, 27 августа 1816 года подает Императору Александру записку «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой, между прочим, пишет: «Гражданская свобода есть

основание народного благосостояния. Истина сия столь мало подвержена сомнению, что излишним считаю объяснить здесь, сколько желательно было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишенных оной. Сие тем более почитаю нужным, что успехи просвещения и политическое сближение наше с Европою, усиливая час от часу более брожение умов, указывает правительству необходимость предупредить те могущие последовать требования, которым отказать будет уже трудно или невозможно; кровью обогренная революция французская в том свидетельствует»<sup>205</sup>. Через два года, в 1818-м, записку об экономической целесообразности постепенного освобождения крепостных подает Александру лучший, скорее всего, политэконом тогдашней России, будущий министр финансов Георг Людвиг Канкрин.

Император и собирался действовать очень постепенно.

Еще в 1804 году было объявлено «Положение для поселян Лифляндской губернии», определявшее отношение крестьян к земле и помещикам. Крестьяне превращались по этому положению в наследственных владельцев земельных участков, их повинности и платежи определялись законом (повинности и платежи русских крепостных определялись помещиком вполне произвольно, в лучшем случае – по обычаю). Крестьянам предоставлялись личные гражданские права, вводилось крестьянское самоуправление и крестьянский суд. В 1805 году подобные же положения были утверждены и для Эстляндской губернии. Немецкое остзейское «рыцарство» (то есть дворянство балтийских губерний) было весьма недовольно этими новшествами и боялось в скором времени потерять и крестьянские барщины, и земли. Однако реформа в соседнем государстве оказала им неоценимую услугу.

В 1807 году Наполеон ввел Конституционный статут в Герцогстве Варшавском. Пронизанный духом Французской революции, Статут, в частности, предусматривал уничтожение крепостной неволи польских крестьян. Но наделить их достаточным количеством земли, боясь потерять поддержку шляхты, Наполеон не решился. Вчерашние крепостные

превращались в Герцогстве в арендаторов помещичьей земли, или в бродяг, или, наконец, в солдат наполеоновской армии.

Балтийские рыцари стали ходатайствовать перед Императором о польском варианте крестьянской эмансипации: полная гражданская свобода, но без земли. Мы не знаем, по каким причинам Александр согласился на ходатайства своих немецких дворян, но сразу же за установлением мира в Европе он позволил в 1816 году балтийским помещикам освободить крестьян по их плану. «Крестьяне, сделавшись лично свободными, но не получив никаких земельных наделов, попадали в полную экономическую зависимость от помещиков и превращались в арендаторов помещичьей земли или батраков в помещичьих хозяйствах». К тому же освобожденным крестьянам запрещалось менять род занятий и место жительства. По этой же схеме в 1817 году были освобождены крестьяне Курляндской губернии, а в 1819 году – Лифляндской и на Моозундских островах.

Остзейский вариант эмансипации оказывался, таким образом, полной фикцией, либеральной ширмой старого рабства. Результат обмана – глубокая ненависть латышей и эстонцев к немецким баронам, разрешившаяся широким и крайне жестоким антинемецким крестьянским движением в Остзейских губерниях в 1905 году. «...Нигде в России возмутительная „иллюминация“ (то есть поджоги. – А. З.) помещичьей собственности не приняла таких размеров, как в Прибалтийском крае», – констатировал С. Ю. Витте.

Конфискация всех рыцарских земельных владений национальными правительствами в 1919 году и ненависть латышей и эстов к немцам, затушенная только ненавистью к советским русским после насильственной советизации 1940 – 1958 годов, – вот печальный результат остзейского варианта эмансипации крепостных. Социальные несправедливости имеют очень долгое и очень громкое эхо в истории.

Император, безусловно, понимал и аморальность, и политическую пагубность балтийской эмансипации, но он удовлетворил жадность рыцарства, не считая, видимо, целесообразным создавать себе и России врагов в лице

влиятельного иноверного и иноплеменного дворянства, жившего своей давней традицией презрительного отношения к латышам, ливам и эстам, шестьсот лет назад покоренным мечом их предков. Александр даже приветствовал эстляндских рыцарей, посчитав их пример «достойным подражания».

Однако когда помещики Санкт-Петербургской губернии, вдохновленные поощрением балтийским рыцарям, решили действовать так же, они получили резкий и решительный запрет от Государя. В 1816 году петербургские дворяне во главе с генерал-адъютантом князем И. В. Васильчиковым постановили обратить своих крепостных в обязанных поселян на основании существовавших законов. Был составлен акт за подписью 65 дворян-помещиков, и князь Васильчиков поднес его Государю. Но Александр приказал уничтожить акт петербургских дворян. Это действие Императора, резюмирует великий князь Николай Михайлович, «привело многих в великое огорчение. Стали не без основания говорить, что Государь оказывает чужеземцам предпочтение перед русскими, и критика долго не умолкала». Замечание великого князя нарочито двусмысленно. Каким чужеземцам отдавал царь предпочтение – рыцарям или их крепостным, когда сохранял при эмансипации у помещиков и землю, и фактически право на труд бывших подневольных мужиков? Если учесть, что русские помещики пуще огня боялись освобождения их крестьян с землей, то ясно, что критиковали Императора не за то, что русским крестьянам он медлил давать свободу, но за то, что он не освобождал крестьян коренной России по остзейскому образцу, оставляя землю помещикам.

Считать, что Император Александр стал крепостником, нет ни малейших оснований. Характерно, что когда Чаадаев по просьбе Александра I и по поручению князя И. В. Васильчикова (у которого он был в то время адъютантом) в 1819 году передал Государю список стихотворения «Деревня» А. С. Пушкина, тот велел «благодарить автора»<sup>206</sup>, но общество для освобождения крепостных, которое думали учредить граф Воронцов и князь Меншиков, запретил. Не страх эмансипации, но боязнь осуществить ее неправильно, во вред и крестьянам, и всей России, не позволяла Александру полагаться на инициативы



дворян. В их неискренности и корысти, когда речь заходила о «крещеной собственности», ему уже пришлось убеждаться многократно. Ответственность за решение этой важнейшей государственной задачи он всецело принимает на себя.

В феврале 1818 года Император дает графу Аракчееву задание составить проект, который бы «не заключал в себе никаких мер, стеснительных для помещиков, и особенно чтобы меры сии не представляли ничего насильственного в исполнении со стороны правительства; напротив, чтобы они сопряжены были с выгодами помещиков и возбудили бы в них самих желание содействовать правительству в уничтожении крепостного состояния людей в России, сообразном духу времени и успехам образованности и необходимом для будущего спокойствия самих владельцев крепостных людей»<sup>207</sup>. Не правда ли, сложное задание? Но оно кажется особенно мудрым в свете последовавшей через сто лет катастрофы, порожденной именно неправильной и запоздалой эмансипацией 1861 года.

Граф Аракчеев умел работать хорошо и быстро. В конце того же 1818 года готовый проект был представлен Государю. «Если оценивать его содержание с точки зрения полученного задания, – пишет современный историк, – то нельзя не признать, что граф-реформатор блестяще справился с возложенным на него поручением. Он нашел тот единственный средний путь, который позволял избежать при осуществлении благородной цели применения совсем неблагородных средств»<sup>208</sup>.

Суть проекта, который был полностью одобрен Государем, исходила из мысли, что если в XVIII веке императоры расплачивались с дворянами за службу и лояльность «телами и душами человеческими», то теперь, полагая эту сделку аморальной, ее нельзя все же признать незаконной и просто отобрать крестьян и их труд у помещиков. Ведь служили дворяне государству Российскому не за страх, а за совесть. Но и крестьяне ничем не виноваты в своей крепостной неволе – не они себя продали в рабство – и на волю выкупаться не должны. Выкупить их следует тому, кто злоупотребил их свободой и их

имуществом в своих интересах, то есть государству, и выкупать их следует у дворян, которым государство крестьян когда-то закабалило.

Прекрасно зная представления крестьян о собственности на землю – что земля не помещичья собственность, а государева и мужицкая, – Аракчеев планирует выкупать не только крестьян, но и землю – по две десятины в среднем на ревизскую душу, сообразуясь с урожайностью и ценами на хлеб в данной губернии. Цены выкупов, по мнению автора проекта, должны быть достаточно высокими, чтобы помещики охотно шли на продажу ради избавления от долгов (большинство имений было к тому времени в закладе) и получения свободных средств для организации рентабельного хозяйства, в котором могли бы работать те же самые бывшие их крестьяне, но уже добровольно и по найму (ограничений остзейского типа на форму деятельности и место жительства в проекте Аракчеева не предполагалось). Ежегодно планируется выделять в государственном бюджете 5 миллионов рублей ассигнациями на выкуп крестьян и земельных угодий.

Проект этот, практически неизвестный современному ему русскому обществу, осмеянный вместе с личностью его автора, да и заказчика, либерально-революционной интеллигенцией конца Империи, лишь скороговоркой упоминаемый эмигрантскими историками, начинает совершенно иначе оцениваться ныне, когда закончился большевицкий антитезис русской истории. «Был подготовлен весьма достойный проект. Если бы удалось его осуществить, то крестьяне при освобождении получили бы больше земли, чем намечал в своей программе декабрист Никита Муравьев. К реальным условиям российской жизни аракчеевский проект был куда ближе, нежели фантастический пестелевский»<sup>209</sup>.

## § VIII

Когда все русское общество, прочтя речь Александра Павловича в Польском Сейме, было возбуждено и напугано возможной эмансипацией крепостных, прекрасно знавший склонение ума Александра и сам более других понимавший государственные задачи России Михаил Сперанский (в то время удаленный от Двора пензенский губернатор) так объяснял своему confidentу А. А. Столыпину последовательность пугавших всех реформ: «...Нельзя себе представить (хотя и представляют многие), чтоб правительство пустило на отвагу дело столь важное и не приуготовило бы все пути его установлениями постепенными и твердыми, без колебания и торопливости Кто метет лестницу снизу? – *Очистите часть административную, потом введите установительные законы, то есть свободу политическую, и затем постепенно приступите к вопросу о свободе гражданской (liberti civile), то есть к свободе крестьян. – Вот настоящий ход дела.* В сем порядке последний вопрос едва ли в десять или двадцать лет успеет к разрешению, ибо предварительные работы столь огромны, а средства наши в людях и в деньгах так ограничены, что невозможно и думать о поспешности. Поспешность тут есть торопливость, смешение и бедствие»<sup>210</sup>.

И действительно, видя враждебность дворянства делу освобождения своих крепостных, Император Александр начинает осуществлять собственный план эмансипации издалека и в полной тайне. Вернувшись через три года в Петербург и сблизившись с Аракчеевым, Сперанский лучше понял план Государя и, несмотря на многие расхождения в деталях, поддержал его своей брошюрой, изданной в начале 1825 года. Брошюра называлась «О военных поселениях»<sup>211</sup>.

О военных поселениях знает любой человек, хотя бы немного касавшийся русской истории Петербургского периода. И практически всегда оценка их крайне негативна. И современники, и потомки не пожалели обличительных слов в адрес и Александра I, их учредившего, и графа Аракчеева,

осуществлявшего с присущим ему рвением и тщательностью план Императора.

В XIX веке обычно считали, что ограниченный и жестокий граф Аракчеев навязал потерявшему вкус к жизни, впавшему в мистицизм и меланхолию царю, фактически, по словам Д. Кобеко, отрекшемуся от царской власти «в пользу всем ненавистного Аракчеева»<sup>212</sup>, среди иных дурных дел и идею создания военных поселений. «...тусклая фигура Аракчеева успела уже окончательно заслонить Россию от взоров Александра, и злобное влияние его чувствовалось на каждом шагу», – писал Н. К. Шильдер<sup>213</sup>. С. Ф. Платонов повторяет эту точку зрения в своих «Лекциях по русской истории»: «Настал тяжелый режим, напоминавший предыдущее царствование (то есть годы Павла I. – А. З.), в особенности тем, что на первом плане стали внешние мелочи военно-казарменного быта и знаменитый вопрос об устройстве военных поселений»<sup>214</sup>. Не скупится на подобные определения и С. Г. Пушкарев, иногда дословно повторяя С. Ф. Платонова.

Однако великий князь Николай Михайлович, привлекая новые источники, в частности свидетельство Дубровина<sup>215</sup>, доказывает, что Аракчеев был первоначально даже противником введения военных поселений. Он «предлагал сократить срок службы нижним чинам, назначив его, вместо 25-летнего, восьмилетний, и тем усилить контингент армии».

То же писал в 1910 году и А. А. Кизеветтер: «...Вопреки распространенному мнению о том, что Александр по слабости характера уступил влиянию Аракчеева, отказываясь от собственных планов, на самом деле Аракчеев с его военными поселениями сам целиком входил в эти планы царственного мечтателя, умевшего как никто связывать в своих фантазиях самые противоположные элементы. Известно, что мысль о военных поселениях принадлежала лично Александру, и Аракчеев, не одобрявший этой мысли и возражавший против нее, стал во главе военных поселений только из угождения воле Государя»<sup>216</sup>.

В настоящее время историки единодушны во мнении, что, «возвысив графа, Александр не отдал ему управление

государством, а, напротив, взял это управление в свои руки так, как никогда прежде не брал Только с помощью вездесущего, необыкновенно энергичного, до предела исполнительного Аракчеева император Александр был в состоянии управлять Россией так, как хотел, т. е. всё и вся держа под своим контролем и влиянием, всеми сколько-нибудь важными делами заправляя. И при том оставаясь всегда в тени!»<sup>217</sup>

Одни постоянные многомесячные поездки Александра по Империи, начатые в 1816 году и продолжавшиеся вплоть до последних недель царствования, внимательное исследование Государем положения дел на местах – в казахских улусах и на уральских заводах, на финских хуторах и в польских местечках, в губернских городах и маленьких деревнях, в крымско-татарских аулах и селениях духовоборов – лучшее свидетельство крайне ответственного отношения Императора к делу государственного управления. Обретенная вера привела Александра не к апатии, но, напротив, к огромной ревности в служении своему отечеству, в исполнении долга верховной власти, возложенной на него Творцом.

Подобно многим иным русским правителям, Александр ощущал острую нехватку честных, умных и предприимчивых людей, которым он мог бы доверить управление. В 1816 году он говорил генералу Киселеву: «Я знаю, что в управлении большая часть людей должна быть переменена, и ты справедлив, что зло происходит как от высших, так и от дурного выбора низших чиновников. Но где их взять? Я и 52 губернаторов выбрать не могу, а надо тысячи Армия, гражданская часть, всё не так, как я желаю, – но как быть? Вдруг всего не сделаешь, помощников нет...»<sup>218</sup>

Причины такой постоянной нехватки достойных администраторов – это отнюдь не рок России, но объективное следствие, с одной стороны, режима авторитарного, а с другой – общества все более нерелигиозного. Контроль граждан за своими начальниками шлифует добродетели чиновников при развитии самоуправления, страх Божий, религиозно-нравственное воспитание и окружение создают честных и верных слуг в государствах авторитарных. Ослабление же веры

при отсутствии гражданского контроля делает чиновника «общественным бедствием». От бабки Александру досталось очень испорченное высшее сословие и вполне авторитарное политическое устройство. «У меня так мало поддержки в моих стремлениях к счастью моего народа! – жаловался он в конце декабря 1812 года графине Шуазель-Гуфье. – Признаться, иногда я готов биться головой о стену, когда мне кажется, что меня окружают одни лишь себялюбцы, пренебрегающие счастьем и интересами государства и думающие лишь о собственном возвышении и карьере»<sup>219</sup>.

Аракчеев, верующий и благочестивый с молодых лет православный христианин, одаренный блестящими организаторскими способностями и административным талантом и, что, наверное, самое главное, трудившийся не ради корысти и славы, а так же, как и Император, следуя своему нравственному долгу (известно, что Аракчеев отказывался от всех дорогих наград, от алмазных украшений с даруемых ему императорских портретов, от ордена Андрея Первозванного, от фельдмаршальского жезла и в конечном счете отказался от пенсии в 50 тыс. рублей, которую ему пожаловал Николай I<sup>220</sup>), такой сотрудник был бесконечно нужен Александру. Император прекрасно знал слабости и недостатки своего гатчинского друга – малокультурность, обидчивость, завистливость, ревность к царской милости, но все это перевешивалось в глазах царя его достоинствами. Александр, Аракчеев и князь А. Н. Голицын втроем составили тот мощный рычаг, который чуть было не развернул Россию с пути к национальной катастрофе, намеченного деяниями «великих» монархов XVIII века – Петра и Екатерины.

Разбравший после смерти Аракчеева его домашний архив граф П. А. Клейнмихель нашел множество черновиков деловых писем Аракчеева третьим лицам, написанных рукой Императора.

Теперь нам совершенно ясно, что за программой преобразований второй половины Александрова царствования, в том числе и создания военных поселений, стоял не Аракчеев, но сам Государь. По многим признакам можно сделать вывод,

что это был замысел грандиозной реформы, замечает историк Александрова царствования.

Ближайшие цели реформы были ясны и официально объявлялись властью. В Манифесте 30 августа 1814 года «Об избавлении державы Российской от нашествия галлов...» помимо прочего провозглашалось: «Надеемся, что продолжение мира и тишины подаст нам способ не только содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего состояние, но и дать им оседлость и присоединить к ним семейства». «...Мы склонны видеть связь между идеей устройства военных поселений и религиозным настроением Благословенного монарха, – подчеркивает великий князь Николай Михайлович. – Ведь основой введения такого рода поселений было желание облегчить участь солдат в мирное время, дать им возможность жить с семьями, наделить их земельной собственностью, другими словами, самая мысль была высоко гуманная, пропитанная великодушными стремлениями»<sup>221</sup>.

Чтобы оценить относительную гуманность военных поселений, нам следует вспомнить, что представляла собой русская рекрутчина в эпоху крепостного права. Барон Н. Е. Врангель оставил зарисовку с натуры взятия в рекруты в конце 1850-х годов, то есть накануне освобождения крестьян. В начале XIX века положение было еще более трагическим и воинские обычаи – еще более жестокими.

«Тогда солдат служил тридцать пять лет, уходил из деревни почти юношей и возвращался дряхлым стариком. Служба была не службою, а хуже всякой каторги; от солдат требовали больше, чем нормальный человек может дать. „Забей трех, но поставь одного настоящего солдата“ – таков был руководящий принцип начальства. И народ на отдачу в солдаты смотрел с ужасом, видел в назначенном в рекруты приговоренного к смерти и провожал его как покойника. Опасаясь, что несчастный наложит на себя руки или сбежит, его связывают, забивают в колодки, сажают под караул и, дабы его утешить, дают напиться допьяна Забитых в колодки людей ведут под руки; они с трудом передвигают ногами, упираются, пытаются вырваться, – но их тащат силою к телегам и укладывают, как связанных телят...

Эти зрелища были ужасны»<sup>222</sup>. И хотя то ли сам мемуарист, то ли редактор русского издания ошибся – рекрутчина длилась всего (!) четверть века, но и этот срок и строй солдатской жизни были вполне бесчеловечны.

Георгий Вернадский видит в военных поселениях средство для решения оборонных и политических задач. В военном плане «армия должна была стать самообеспеченной в экономическом и финансовом отношениях; солдаты будут наделены землей и средствами существования в старости; большинству населения не нужно будет ни платить на них налоги, ни поставлять для армии рекрутов»<sup>223</sup>. Об этой цели говорит и С. Г. Пушкирев. В политическом же плане армия, независимая в поставках продовольствия и рекрутов от помещиков, сможет стать силой, на которую Император мог бы опереться при решении крестьянской проблемы, то есть при освобождении частновладельческих крепостных: «Александр посчитал необходимым, прежде чем затронуть крестьянскую проблему, усилить свою власть, чтобы чувствовать себя в безопасности. После тщательного обдумывания он решил сделать своей главной опорой армию. Но армия сама зависела в значительной степени от дворянства... Поэтому первым делом нужно было сделать армию самообеспеченной. Отсюда и возникла идея „военных поселений“»<sup>224</sup>.

Такая организация вооруженных сил была в те времена модной идеей в Европе (прусская ландвер, швейцарское ополчение – аусцуг) и издревле практиковалась на окраинах России (казачество). Кое-где военно-гражданская организация сохраняется и сейчас (Израиль, Финляндия). Начав создавать военные поселения, Император действительно несколько лет подряд не проводил наборов рекрутов.

Между тем связь военных поселений с эмансипацией крестьянства безусловна. Только умозаключения и практические шаги Александра были несколько иными, чем указывает Г. Вернадский.

Пожалуй, первым подступом к этой идее становится указ 30 ноября 1806 года о созыве временного земского войска, или, как кратко его именовали, – «милиции». Планировалось



призвать 612 тысяч ратников из низших сословий – мещан и крестьян, в том числе и из крестьян помещичьих. Ратников предполагалось вооружить и научить грамоте и военному делу без отрыва от повседневных трудов. Но чтобы труды эти были не чрезмерны, для помещичьих крестьян должны были быть восстановлены нигде не соблюдавшиеся нормы Павлова закона о трехдневной барщине. Работа же на себя компенсировалась для крестьян из государственных средств по средним нормам подушной подати. К созыву милиции Александр подошел очень серьезно, и проект был разработан тщательно. Но в конце 1807 года, после Тильзитского мира, Александр приостанавливает формирование ополчения, столкнувшись с большими трудностями, вызванными нехваткой оружия и, главное, сопротивлением помещиков, которые готовы были давать сколько угодно рекрутов, но не желали видеть своих крестьян гражданами, да притом и вооруженными, на которых их права не безграничны.

Руководитель сенатской комиссии по южному подмосковному округу (губернии – Рязанская, Владимирская, Тульская и Калужская) сенатор Иван Лопухин (видный масон и один из просвещеннейших людей своего времени) уговаривал царя отказаться от идеи ополчения именно потому, что ясно видел в ней только первый шаг к эмансипации крепостных рабов (донесение от 4 января 1807 года)<sup>225</sup>. Резко отрицательно на созыв ратников-ополченцев отозвался в своей «Записке» и Карамзин<sup>226</sup>. И тогда Государь стал действовать осмотрительней, совсем не с общероссийским размахом, среди государственных крестьян, не касаясь до времени крестьян частновладельческих. Целью этой деятельности и были военные поселения, которые начали создаваться по Высочайшему указу командиру Елецкого полка генерал-майору Лаврову от 9 ноября 1810 года.

Впрочем, уже к лету 1810 года были готовы все предварительные проекты и расчеты, и главноначальствующим над системой будущих военных поселений назначен был Аракчеев. Именно к нему, в его имение Грузино, повелел Император ехать генералу Лаврову. Кроме обсуждения планов

создания будущего поселения одного из батальонов Елецкого полка в Климовичском уезде Могилевской губернии Аракчеев по указанию Императора должен был показать полковому командиру свое имение и быт своих крестьян.

Дело в том, что недели за три до того, 7 и 8 июня, Император гостил в имении своего друга и был совершенно потрясен организацией быта и хозяйственной жизнью аракчеевских крестьян. В именном рескрипте Аракчееву от 21 июля того же 1810 года Александр писал: «Граф Алексей Андреевич! Доброе сельское хозяйство есть первое основание хозяйства государственного». «Быв личным свидетелем того обилия и устройства, которое в краткое время, без принуждения, одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием, успели вы ввести в ваших селениях, я поспешаю изъявить вам истинную мою признательность за удовольствие, которое вы мне сим доставили. Когда с деятельною государственною службою сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и служба и хозяйство получают новую цену и уважение. Пребываю к вам всегда благосклонным. Александр»<sup>227</sup>.

Императору Александру Павловичу было чем восхититься в имении Аракчеева. Вовсе не думая ни о высочайшем посещении, ни о сверхприбылях, но исключительно из чувства ответственности перед Провидением за вверенных его попечению людей и из любви к порядку и совершенной организации, граф Алексей Андреевич создал в своих владениях оазис благоустройства, благополучия и хозяйственного процветания, крайне редкий в России. Сам Аракчеев, никогда не льстивший и не вравший, так определял свое кредо в одном из писем Императору: «В моем понятии помещик, или владелец, обязан по праву человечества наблюдать два главных правила: 1) Не мыслить о своем обогащении, а более всего заботиться о благосостоянии крестьян, вверенных Богом и правительством его попечению; 2) Доходы, с них получаемые и составляемые всегда ценою их пота и крови, обращать главнейше на улучшение их же

положения»<sup>228</sup>. В селах были созданы школы, больницы, дома инвалидов, позднее Мирской банк. Четкие регламенты предполагали наделение всех дворов скотиной и имуществом. Граф требовал от крестьян исключительной чистоты и порядка в ведении хозяйства, в жизненном обиходе, в обращении с детьми. В необходимых случаях он не жалел своих личных средств, но всегда требовательно проверял их расходование и за растраты, пьянство, разврат наказывал строго. Знание молитв, посещение церковных служб, чтение Писания для грамотных были обязательными условиями графского благоволения. Если, например, желающий вступить в брак юноша не знал положенных молитв и основы катехизиса (а экзаменатором был сам Аракчеев), его брак откладывался на год. Инструкция из 36 пунктов давалась молодым матерям по уходу за грудными детьми, особые правила были введены для содержания скота, кошек и собак. Чисто выметенные улицы, красивые, добротные дома под крашенными суриком железными крышами, хорошо одетые, здоровые и сытые крестьяне, прекрасно обработанные свои и господские поля были лучшей визитной карточкой аракчеевских деревень.

Благополучная жизнь вводилась графом не без сопротивления крестьян, которым многое не нравилось: и запрет на употребление алкоголя при домашних торжествах, и недопущение малейшей грязи и захламленности на улицах, в домах и усадьбах, и принудительное обучение детей, достигших 12 лет, счету, чтению и письму, и обязательные прививки оспы, и клеймение скота, и надзор за его состоянием, и требования церковной дисциплины, и строжайшие наказания за разврат и нарушение супружеской верности.

В. А. Томсинов, подробно описавший все порядки аракчеевских вотчин, заключает описание следующей сентенцией: «Содержанием своим аракчеевские инструкции были вполне разумны и моральны: они предписывали воздерживаться от глупостей и не делать зла. Но весь их разум и вся их мораль были рассчитаны на людей, лишенных своего „я“, живущих бессознательно. Граф настолько подробно регламентировал поведение своих крестьян в домашнем быту и

на работах, что жизнь крестьянская переставала являться только жизнью. Мать-крестьянка уже не просто любила своего ребенка, не просто заботилась о нем, а выполняла инструкцию»<sup>229</sup>. Но можно ли было воспитать иначе людей, развращенных и униженных вековым рабством, одичавших, превратившихся почти в животных? Это – открытый вопрос, но подсказкой ответа служит полное бескорыстие Аракчеева и даже, напротив, большие его затраты, и материальные, и временные, и душевные, для улучшения жизни людей, «вверенных его попечению Богом и правительством». Характерно, например, частное письмо, которое пишет Аракчеев своему другу, государственному контролеру барону Балтазару Кампенгаузену 11 мая 1822 года: «...Оброк я получаю по пятнадцать рублей с души, но и сего оброка по сие время ни копейки не получил, и как теперь я совершенно в страшной нужде, ибо сверх их оброка я должен был купить крестьянам овса на семена на двенадцать тысяч рублей и муки на прокормление на шесть тысяч рублей, и, все деньги издержав, совершенно обеднял»<sup>230</sup>.

Если бы не было закрепощения XVIII века, если бы не разошлись так далеко жизненные уклады высших и низших сословий, их культура, их ценности, если бы не возникли между ними чувства лютой ненависти, зависти и презрения, если бы возрастала в народе живая и сознательная вера в Бога, то можно было бы и обойтись без детальных инструкций и регламентаций и развивать быт и жизнь низших сословий обычными методами экономической заинтересованности, гражданской вовлеченности, школьного обучения и церковного воспитания. Но и граф Аракчеев, и Н. М. Карамзин, и сам Александр – все они видели, что крестьяне испорчены рабством и сама по себе свобода не исправит их вдруг и быстро, но, напротив, из-за отсутствия навыка вольной и ответственной жизни может погубить и их самих, и все русское общество, где они составляют подавляющее большинство. Последствия жестоких несправедливостей и насилий восемнадцатого века были в России столь значительны, что и воспитательные меры

требовались, по всей видимости, чрезвычайные, с элементами принуждения, какие применяются в отношении детей.

Слишком долго, обманывая народ святостью власти, «от Бога поставленной», высшие принуждали низших в России задаром трудиться на них и жертвовать им своим благосостоянием и человеческим достоинством. Теперь требовалось обратное – жертва высших низшим и принуждение народа к исправлению ради восстановления в нем погрязших высшими положительных качеств человеческой личности. Аракчеев, скорее всего интуитивно, опираясь на в высшей степени присущий ему здравый смысл и практический опыт, а Александр I наверняка вполне сознательно желали работать над воспитанием вверенных им Провидением людей, используя ту самую силу власти, которую столь многие употребляли и употребляют во вред подвластным и на благо только себе.

То, что Аракчеев сумел сделать в Грузино, Александр Павлович решил распространить на всю Россию и так, исправив культурное, бытовое, нравственное и религиозное состояние низших сословий, подготовить крестьян к эмансипации и к распространению на них прав гражданских и политических, которые предусматривала Уставная Грамота Новосильцева. Поскольку заставить всех помещиков так же относиться к своим крепостным, как относился к крестьянам грузинской вотчины Аракчеев, было совершенно немыслимо, он решил создавать крестьянские поселения нового, аракчеевского типа у казенных крестьян, постепенно выкупая, в соответствии с аракчеевским проектом эмансипации, частновладельческих крестьян и распространяя на выкупленных подобные же принципы организации жизни.

И Государь Александр Павлович, и граф Аракчеев были людьми военными, и не просто военными, но выучениками павловского времени, когда строю и всему воинскому порядку уделялось особое внимание. В нашей исторической литературе и у многих современников этих царствований можно найти бесчисленное множество издевок и насмешек над муштрой, «поэзией носка», шагистикой и прочими, как им казалось, бессмысленными затеями и Павла, и Александра, и его брата

Николая I. А между тем воинский строй был как раз одной из важнейших компонент правильно организованного «идеального» общества, как его понимали в XVIII – XIX веках. Кроме того, воинский порядок есть внешняя рамка воинского приказа, принципа повиновения начальнику, совершенно необходимого на поле боя. Без дисциплины внешней, без шагистики нет и дисциплины внутренней. Особенности исторического бытия сделали русских весьма хаотичными, «артистическими» натурами, и дисциплина, строй для русской армии были исключительно необходимы, хотя и принимались всегда не без труда. Вводя знаменитые парады и разводы полков, Павел противопоставлял гатчинскую дисциплину хаосу и нравственной вседозволенности двора своей матушки. Александр Павлович, человек, как мы уже смогли убедиться, и умный, и образованный, и глубоко религиозный, был совершенно уверен в огромной значимости воинской дисциплины, очень любил правильный военный строй, безукоризненную форму, четкое исполнение команд. Он видел в этом порядок, божественный космос, противостоящий разрушительному хаосу демонических сил. Поэтому и преобразование крестьянства на аракчеевских началах Император мог поручить только армии, традиционно воспитывавшейся в аккуратности и четкости. В русской армии любили прусский военный порядок и считали его для себя образцом (во флоте за образец была выбрана, естественно, Англия).

В 1815 году, в результате решений Венского конгресса, России отошла часть Польши, которой по второму (1793) и третьему (1795) разделам владела Пруссия. Эта часть польских земель была под полным прусским управлением до 1807 года, всего десять – двенадцать лет, пока Наполеон не создал на них вассальное себе Герцогство Варшавское, просуществовавшее фактически до 1813 года (кроме Белостокского округа, присоединенного к России еще в 1807 году). Путешествуя по этим вновь обретенным землям в 1817 году, Александр поражался разнице между ними и теми польскими воеводствами, которые по разделам 1793 и 1795 годов отошли сразу к России. В бывших прусских владениях в Польше он

видел образцовый порядок, зажиточное и аккуратное крестьянство, прекрасные дороги, школы, госпитали, хорошо налаженную местную промышленность. Все это тут же исчезало, когда, переправившись через Неман, Государь оказывался в Ковно или Гродно и ехал дальше на восток по такой же бывшей Польше, но не испытавшей кратковременного прусского воспитательного воздействия. И в этом тоже для нас немалая подсказка. Если пруссакам удалось за десять лет дисциплинировать поляков, то в сравнимые сроки и русской дисциплинированной армии удастся превратить убогих поселян в инициативных, богатых, аккуратных и трудолюбивых земледельцев, которые не воспользуются гражданской и политической свободой во вред себе и России, но смогут извлечь выгоду и пользу из своего нового состояния. Крайне отрицательно относившийся к военным поселениям Филипп Вигель с осуждением писал в воспоминаниях о военных поселениях: «Все в них было на немецкий, на прусский манер, все было счетом, все на вес и на меру»<sup>231</sup>. О том же ощущении пишет и Ф. А. Пенкин, воспитанник военно-учительского института графа Аракчеева, в мае 1822 года приехавший в Новгородские поселения: «Перед нами развернулась картина однообразного порядка домов с мезонинами и с бульварами перед улицами. Думаем себе: „Это не русские деревни, не русские села, а что-то похожее на немецкие колонии”»<sup>232</sup>.

## § IX

Если до войны эксперименты с военными поселениями не выходили за пределы отдельных небольших территорий, то с 1815 года они принимают всеимперский характер и, что самое главное, проводятся по принципиально иной схеме. Когда в 1810 году создавалось первое военное поселение в Могилевской губернии, крестьян, живших на отведенных под поселение землях, насильственно переселяли, а на их место водворяли солдат строевой службы, набранных, понятно, из других мест и потому плохо адаптировавшихся к своеобразным условиям хозяйствования юго-восточной Белоруссии. Климовичские солдаты-поселяне столкнулись с массой непредвиденных трудностей, страдали и переселяемые в Новороссию коренные жители уезда – страшно сказать, но «живших тут 1800 крестьян при переводе их в Крым так худо содержали, что половина их пропала, не дойдя до назначения»<sup>233</sup>. Эти слова путевого дневника великого князя Николая Павловича, посетившего летом 1816 года Климовичское поселение, свидетельствуют, что ценность человеческой жизни была пренебрежительно мала не только для начальников НКВД, переселявших целые народы в советские времена, но и для администраторов императорской России. Доля «падежа» людей в пути при насильственных переселениях почти не изменилась в России за 130 лет.

Но печальные результаты климовичского эксперимента были полностью учтены. Теперь, после завершения войны, в военных поселян превращались сами жители той или иной волости, и среди них расселяли строевых солдат, с которыми они уравнивались в правах и обязанностях. 5 августа 1815 года Александр повелел новгородскому губернатору расположить второй батальон гренадерского графа Аракчеева полка на реке Волхове, в Высоцкой волости. Крестьян одели в соответствующие мундиры, привели к воинской присяге и начали всех подходящих по возрасту (мужчин от 21 до 45 лет) обучать военному делу и грамоте без отрыва от семей и



сельских работ. Через десять лет, к концу Александрова царствования, число таких военных поселян было доведено до 750 тысяч человек обоого пола (без маленьких детей). Они размещались на площади в 2,3 млн. десятин земли во многих губерниях. На режим военных поселений была переведена треть российской армии, и, судя по всему, Император планировал продолжать этот процесс вплоть до расселения всей армии.

Военные поселения хулили все, кому не лень. С. Г. Пушкирев назвал военные поселения «аракчеевскими колхозами»<sup>234</sup>, Г. Вернадский определил систему военных поселений как «эксперимент военного коммунизма»<sup>235</sup>. В устах двух виднейших историков русской эмиграции такие эпитеты иначе как язвительной хулой не назовешь.

А между тем ничего конкретного в осуждение военных поселений привести историкам, как правило, не удастся. Крестьянский труд в России был тяжел, барщины – изнурительны. В сравнении с ними воинские занятия поселян (понятно, свободных от барщины) и общественные работы, главным образом на себя самих, – строительство новых частных домов, общественных построек (школ, больниц, церквей, инвалидных домов), дорог и плотин – не были слишком обременительны. С. Г. Пушкирев, назвав военные поселения «одним из наиболее темных пятен на фоне „аракчеевщины”», не смог сказать о них ничего дурного, кроме того, что в воинских тесных мундирах было неудобно трудиться на сельских работах и что «военная муштровка» под командой офицеров была, «конечно, в ущерб сельским работам». Это не только мелко, но и по сути неверно. Рабочая, повседневная воинская одежда вовсе не была тесной. Да и по сравнению с тем рваньем, в которое были одеты крепостные крестьяне, и тем, во что они были обуты, а чаще – вовсе разуты, добротные и теплые русские мундиры, кожаные сапоги являлись очень хорошей одеждой, о которой большинство крепостных не могло и мечтать. Мундиры трех ростов были пошиты и для крестьянских детей, которых до того одевали вообще Бог знает во что. 6 июня 1817 года Аракчеев писал Императору: «Касательно же

обмундированных детей, то на них я любовался; они стараются поскорее окончить свои работы, а возвратясь домой, умывшись, вычистят и подтянут свои платья и немедленно гуляют кучами из одной деревни в другую, а когда с кем повстречаются, то становятся сами уже во фронт и снимают шапки. Крестьянам же главное полюбилось то, что дети их все почти в один час были одеты, говоря, что от одного одному против другого не обидно»<sup>236</sup>.

31 июля 1825 года Карамзин писал в частном письме своему confidentу И. И. Дмитриеву после посещения Новгородских военных поселений: «Поселения удивительны во многих отношениях. Там, где за восемь лет были непроходимые болота, видишь сады и города. Но „Русский Путешественник“ уже стар и ленив на описания»<sup>237</sup>. Побывавший в тех же поселениях тремя годами раньше граф Виктор Кочубей оказался менее ленивым. 22 августа 1822 года он писал Аракчееву: «Обозрение оных было для меня явление совершенно неожиданное; и подлинно, как не прийти в удивление, сравнивая положение одной стороны Волхова с другой, строения, дороги, мосты, поля и проч. одного берега и противоположного. Я думал и объезжая поселения, и потом, когда я переправился из оных, что меня какою-то революцие глобуса перекинуло из области образованной в какую-то варварскую страну, ибо, ваше сиятельство, согласитесь со мною, хотя Вы и новгородец, что, начав от какой-то ветряной мельнички тут близко и на боку стоящей, до самого Подберезья ничего нет похожего не только на произведение ума, но и рук человеческих»<sup>238</sup>.

Не было и «тяжелого гнета палочной военной дисциплины». Телесными наказаниями Аракчеев не велел пользоваться без крайней необходимости, розгам предпочитая внушения и показательные поощрения исполнительных и благомыслящих поселян. «В военных поселениях изначально отсутствовали такие распространенные в России явления, как нищенство, бродяжничество, пьянство. Не было и туеядства, строго пресекался разврат. Семьям, попадавшим в состояние нужды вследствие неурожая или стихийных бедствий, немедленно

оказывалась помощь и продуктами, и стройматериалами...» – отмечает В. А. Томсинов<sup>239</sup>. Хозяевам и хозяйкам аккуратных домов делались ценные подарки, их имена объявлялись в рапортах. За образцовое хозяйствование женам поселян Государь дарил вышитые серебром сарафаны ценой в 150 рублей. Образование и медицинское обеспечение были предметом особой пристальной заботы устроителей военных поселений. В Новгородской губернии создан был Военно-учительский институт для подготовки учителей поселенских школ. Для детей, оставшихся без родителей, в военных поселениях были устроены военно-сиротские отделения. Самых способных мальчиков отдавали в кадетские корпуса с последующим производством в офицеры и с переходом в дворянское сословие. В 1825 году более трехсот детей военных поселян продолжили учебу в кадетских корпусах. Сам бывший «аракчеевским кадетом» и учившийся в Новгородском военно-учительском институте, Ф. А. Пенкин уже в 1860-е годы размышлял над опытом юности: «Петр Великий преобразовал дворянство и государственную администрацию на европейский лад, а граф Аракчеев переустроивал быт крестьян (в малом покуда размере) также на лад иноземный, пересаживая все лучшее по сельскому хозяйству на почву русскую. Как действовал граф Аракчеев? Быстро, неумолимо, даже жестоко, как и Петр Великий...»<sup>240</sup>

Образование школьное соединялось в военных поселениях с религиозным просвещением. Именно сюда, в поселения, в первую очередь шел поток русских переводов Священного Писания, катехизисов, собраний нравоучительных историй, изданных попечением Библейского общества. Поселяне должны были присутствовать на церковных службах, их экзаменовали в знании молитв, религиозных установлений. Весьма поощрялось чтение и изучение Писания. И успехи в этой области были немалые. Аракчеев требовал от поселенских священников не только служить, но и учить поселян «духовным учениям».

К офицерам предъявлялись особые требования. И Александр, во время ежегодных объездов поселений, и Аракчеев строго пресекали все злоупотребления. В поселениях

им были запрещены употребление любых алкогольных напитков, карточная игра. Зато устраивались для офицеров и иной поселенской интеллигенции дешевые рестораны-клубы, с музыкой, читальнями, игрой в шашки и шахматы.

И не следует забывать, что в руках у поселян было настоящее воинское оружие, они знали, как с ним обращаться, знали воинский строй, а притом жили не в казармах, но в собственных домах со своими семьями. Одна эта способность постоять за себя, защитить честь и свою, и своих близких не могла не воспитывать чувства гражданского достоинства, присущего на Руси казакам, но почти несвойственного крепостным. Характерно, что Император не боялся вооружить народ, но, скорее, видел в военных поселянах завтрашних ответственных граждан новой, свободной России.

Несколько раз, в Чугуеве на Украине в 1819-м, в Новгородских поселениях уже при Николае I в 1831-м, происходили восстания, которые подавлялись со всей воинской строгостью, но в целом крестьянство, с трудом привыкая к военным поселениям, к «немецкому» их быту и распорядку, через некоторое время начинало скорее с одобрением относиться к своему новому положению, ощущая, что на этот раз они для властей, руководящих реформой, не средство, а цель. Тот же Федор Пенкин вспоминал: «...Переход от крестьянского быта к военно-земледельческому был слишком крут. Сам граф Аракчеев не ожидал блестящих успехов от поколения старого. Раз он сказал в институте (военно-учительском. – А. З.): „Я знаю, что меня называют чертом, дьяволом, колдуном; но дал бы Бог мне прокомандовать поселениями еще лет пятнадцать, тогда благословляли бы меня“. Такое признание имеет известную долю правды: граф Аракчеев, тяжело налегая на поколение старое, любил поколение новое, которое и привязывал к себе и своим учреждениям в поселениях мерами снисходительными и разумными»<sup>241</sup>.

Пожалуй, наиболее взвешенную оценку отношения общества к военным поселениям дал великий князь Николай Михайлович, вовсе не жалующий Аракчеева и осуждающий приязнь к нему Императора Александра: «...Крестьяне

относились в большинстве с недоверием к новшеству, подавали прошения вдовствующей императрице, великому князю Николаю Павловичу, но вначале не замечалось особого ропота. Впоследствии часто отношения обострялись, больше ради мелочей, как приказания брить бороды, носить казенные мундиры, а иногда вследствие излишней строгости или бестактности местного, подчас слишком ретивого, начальства. Но в общем крестьянство не обнаруживало того негодования, которое старались изобразить впоследствии в литературе. Более критически относились к этой мере государственные деятели, видя в военных поселениях корень ненавистного могущества Аракчеева, а также многие генералы, видя вред в поселениях для военного дела вообще»<sup>242</sup>.

Увы, великий князь прав. Сопротивлялись военным поселениям и порочили их вельможи из личной зависти к фавориту. Генералы, в том числе и знаменитый Барклай-де-Толли, возражали против военных поселений с чисто военной точки зрения, так как не видели и не понимали их гражданского значения. С военной точки зрения в военных поселениях действительно были и плюсы, и минусы, и сам Аракчеев первоначально, пока царь не растолковал ему внутренний смысл своего плана, был, как мы помним, против них. Большинство помещиков ненавидели военные поселения, поскольку они были живым упреком их бесхозяйственности, корыстности и жестокости, и всячески поносили и сами эти поселения, и Аракчеева как их главного устроителя.

Но если неприязнь к военным поселениям завистливых царедворцев, старых генералов и помещиков-крепостников была достаточно ожидаема, то отвержение этой идеи образованными и молодыми русскими дворянами, осуждавшими крепостное право и молившимися на конституцию, явно было неожиданно для Александра. А между тем такая негативная реакция свободомыслящей образованной русской молодежи была всеобщей. Мы помним эпиграммы Пушкина на «чугуевского Нерона» и «притеснителя всей России» или Баратынского, в которой Аракчеев приравнивается к самому «владыке преисподней». Поколение Пушкина не

скупилось в последнее семилетие правления Александра на подобные комплименты. Для увлеченных идеями «свободы, равенства и братства» будущих декабристов военные поселения были ненавистны как творение абсолютистской царской власти, той самой власти, единственным добрым делом которой могло бы быть, по их мнению, дарование конституции и передача государственной власти народу. Александр и сам думал так в юности и не скрывал своих взглядов. Его речь в Польском Сейме облетела всю Россию. От него адоранты свободы ждали самоупразднения. И вдруг вместо народоправства – военные поселения с жестокой дисциплиной. Не зная внутренних мотивов действий царя, политические либералы объясняли его отход от либеральных идей мистицизмом, а ответственность за авторитарное правление возлагали на «временщика» Аракчеева, которому-де погрузившийся в религиозные бредни «кочующий деспот» препоручил государственную власть, как «помещик, наскучив сам, передает власть строгому управляющему» (Ф. Вигель).

Однако политический либерализм, распространявшийся в России после наполеоновских войн, в Европе все более деградировал к этому времени в уличную философию. Интеллектуалы, наиболее глубокие умы захвачены были в эпоху Реставрации романтическими идеями. Националистический романтизм – дитя светского национализма Французской революции и религиозной реакции на революционное богоборчество – причудливо соединил черты обоих родителей. Романтики любили говорить о «душе народа», рассматривать этнос как коллективную личность и считать веру не столько индивидуальным путем к Богу, сколько формой бытования коллективной народной души. При этом именно простой народ, не развращенный скепсисом Просвещения, полагали они сохранившим в чистоте «народную психею», которая когда-то, в Средние века, была свойственна нации в целом, но потом утрачена. Отсюда повсеместный в Европе огромный интерес к народному быту, этнографии и фольклору, средневековому эпосу и литературе, живописи и архитектуре.

Слушатели Шеллинга и Гегеля, читатели Шатобриана и Баадера, молодые русские дворяне-романтики не принимали военных поселений потому, что крестьян принуждали в них к совершенствованию силой. Как и повсюду в Европе, русские романтики были уверены, и в этой уверенности прошло все последнее столетие старой России, что русский народ сохранил некую духовность, внутреннюю правду, утраченную высшими сословиями, и потому в простонародности – залог возрождения здоровой национальной и государственной жизни. Тех, кто разделял этот принцип, характерный в отношении своего собственного народа для всех европейских романтиков XIX века (эсеры в этом смысле были последними романтиками, в отличие от большевиков, воспринявших новую европейскую идеологию классовой войны и «партии гегемона»), возмущало отношение Аракчеева и Александра к русскому народу не как к объекту подражания и источнику вдохновения, а как к больному, которого надо лечить, часто весьма жестокими методами принуждая к принятию горьких снадобий, подвигавших его к тому же, как несколько позже писал Иван Киреевский, «к неметчине», к чужому и чуждому духу инославной Европы.

Итак, практически все русское образованное общество отвергло военные поселения, осудило их по совершенно разным мотивам. Такого всеобщего противления царь, видимо, не ожидал.

...Отзываясь на кончину в апреле 1834 года графа Аракчеева, Пушкин писал жене: «Об этом во всей России жалею я один – не удалось мне с ним свидеться и наговориться»<sup>243</sup>.

## § X

В 1814–1818 годах, когда заключался Трактат Священного Союза, разрабатывалась система для освобождения крестьян и введения законно-свободных установлений, Александр не ощущал временных пределов для своей реформаторской деятельности. Его ограничивала среда и международного, и российского общественного мнения, косность, инертность социального «материала», но не время. И он не спеша, шаг за шагом осуществлял преобразования. Одна из любимых поговорок его, которой он почти всегда следовал, была: «Десять раз отмерь, а один – отрежь». Однако примерно к 1820 году Император понял, что время, отпущенное на преобразования, не беспредельно<sup>244</sup>. В Испании, Португалии и Неаполитанском королевстве вспыхнули восстания против законных монархов. Их организовали те же силы, что и Французскую революцию тридцатью годами ранее, – враги Церкви и традиционного политического порядка, дети эпохи Просвещения и политические сторонники системы Наполеона, члены антихристианских масонских лож, иллюминаты.

Дело в том, что, возникнув в конце XVII – начале XVIII столетия внутри христианского сообщества как компенсирующая реакция на светский и сервильный характер традиционных церквей, масонство, не имея подлинно мистериальных источников восполнения своей духовной глубины, постепенно само секуляризировалось в течение всего XVIII века. В первой четверти XIX столетия многие масонские организации под влиянием политических потрясений Европы резко политизируются, теряют интерес к поискам высшей религиозной истины и используют свои организационные формы для осуществления политических революционных проектов.

Действовали эти революционеры не в безвоздушном пространстве. Народы Италии и Испании, вначале восторженно приветствовавшие возвращение законных монархов, вскоре отвернулись от них, недовольные крайне реакционной реставрацией дореволюционных порядков. Отказ от



конституций, восстановление личных повинностей, возобновление инквизиции Фердинандом VII в Испании с полного одобрения Римской курии – все это сделало за несколько лет крестьянское население Испании и Италии союзниками заговорщиков, которые использовали народное недовольство, дабы разрушить ненавистные им традиционные религиозные и политические формы. Революции 1820 года по решению Священного Союза были подавлены внешними силами – в Испании французским корпусом герцога Ангулемского, в Неаполитанском королевстве – австрийцами.

Император Александр, активно выступавший за подавление революционных заговоров иллюминатов на юго-западе Европы, ясно сознавал, что заговорщики имеют международную организацию, которая стремится, используя недовольство народов, уничтожить традиционный порядок в Европе, захватить власть и покончить с Церковью и монархией. «Революционные либералы, радикалы и международные карбонарии Прошу не сомневаться, что все эти люди соединились в один общий заговор, разбившись на отдельные группы и общества, о действиях которых у меня все документы налицо, и мне известно, что все они действуют солидарно, – пишет Государь князю А. Н. Голицыну 8 февраля 1821 года. Все общества и секты, основанные на антихристианстве и на философии Вольтера и ему подобных, поклялись отомстить правительствам. Такого рода попытки были сделаны во Франции, Англии и Пруссии, но неудачно, а удались только в Испании, Неаполе и Португалии, где правительства были низвергнуты»<sup>245</sup>.

15 августа 1820 года, выступая в Варшаве на сессии Сейма, Александр говорит: «Дух зла покушается водворить снова свое бедственное владычество; он уже парит над частью Европы, уже накапливает злодеяния и пагубные события»<sup>246</sup>. И это были не пустые страхи. Революции в юго-западной Европе сопровождались страшными насилиями и контрнасилиями. Казни, массовые убийства, самосуды, уничтожение чужого имущества, кощунства против Церкви и инквизиционные

преследования кощунников вновь, как и в конце XVIII века, стали обычным делом.

Программа Александра вовсе не была просто охранительная и контрреволюционная. Глубоко ненавидя антихристианский дух заговорщиков-карбонариев, он понимал, что их сила и влияние – в недостатках самих традиционных христианских монархических режимов, против которых выступали масоны-иллюминаты. Революционеры и стоящий за ними «враг рода человеческого» обрели такую силу потому, что высшие сословия традиционных государств, делая вид, что служат Богу, служили большей частью только «маммоне». И потому традиционные монархи и традиционная Церковь оказывались столь слабы перед бунтовщиками.

Александр вполне отдавал себе отчет, что Россия находится не в более благополучном состоянии, чем Испания, Португалия или Королевство Обеих Сицилий. И в его Империи заговорщики, буде они появятся, найдут немало горючего материала и в крестьянском рабстве, и во всеобщей политической несвободе, и в безграмотности и духовной непросвещенности народа, и в ленивой медлительности большей части духовенства.

Восстания в юго-западной Европе показали, что времени на реформы осталось немного. Или законная императорская власть успеет освободить, обогатить и просветить народ и тем ликвидирует потенцию революционного взрыва, или инсургенты поднесут огонь к хвосту народного недовольства, и поднимется пламя, в котором сгорит и Россия, и Православная Церковь, и большая часть Европы. Спокойные, методичные и неспешные реформы, рассчитанные на десятилетия образования, просвещения, перевоспитания народа, превращались в бег наперегонки с революцией.

«С Троппауского конгресса (осень 1820 года. – А. З.) решительно началась новая эра в уме Императора Александра Государь вполне отрекся от прежних своих мыслей», – отмечает Н. К. Шильдер<sup>247</sup>. Биограф имеет в виду отход Александра от либеральных воззрений, но в действительности отречение было в ином. Император отказывается от благодушного отношения к

своей миссии освободителя и просветителя России. Перед его духовным взором открываются те бездны зла, над которыми протекает жизнь человечества. Руссоистский идеал природно совершенного человека, которого портит и извращает плохое общественное окружение, идеал этот пересматривается Александром. «В Александре не могло уже быть прежней бодрости и самонадеянности, – писал в это время хорошо знавший Царя Петр Андреевич Вяземский. – Он вынужден был сознаться, что добро не легко совершается, что в самих людях часто встречается какое-то необдуманное, тупое противодействие, парализующее лучшие помыслы, лучшие заботы о пользе и благоденствии их... Тяжки должны быть эти разочарования и суровые отрезвления. Александр их испытал: он изведal всю их уязвительность и горечь»<sup>248</sup>.

Князь Меттерних вспоминал признание Александра, сказанное ему на Троппауском конгрессе: «Между 1813 годом и 1820 протекло семь лет, и эти семь лет кажутся мне веком. В 1820 году я ни за что не сделаю того, что свершил в 1813. Не Вы изменились, а я. Вам не в чем раскаиваться; не могу того же сказать про себя»<sup>249</sup>. «Относительно душевного состояния Императора Александра могу свидетельствовать лишь о совершенно очевидном для меня обстоятельстве, – продолжал в другом месте своих воспоминаний Меттерних, – только одна главная мысль занимала и тревожила его в последнее время – спасти себя и свою страну от гибели (*d'une perte*), которая ему казалась неминуемой»<sup>250</sup>.

Раскаянье Государя было тем более глубоким, что из самой России к нему стали приходить крайне волнующие известия. Как раз в те дни, когда в Лайбахе и Троппау министры и государи главных держав Европы пытались остановить революционный пожар, полыхавший на юго-западе континента, из России пришла весть о бунте в лейб-гвардии Семеновском полку. Опять же большинство современников и историков говорят о болезненной мнительности Александра, который увидел за банальным солдатским возмущением, вызванным излишними строгостями командира, заговор мировой революционной «закулисы». «...Никто на свете меня не убедит, чтобы сие

происшествие было вымыслено солдатами или происходило единственно от жестокого обращения с оными полковника Шварца (командира полка. – А. З.), – писал Александр Аракчееву 5 ноября 1820 года и объяснял далее: – ...Признаюсь, я его приписываю тайным обществам, коим весьма неприятно наше соединение и работы в Троппау»<sup>251</sup>. Цель возмущения, как счел Александр, была испугать его и заставить, прервав занятия Конгресса, вернуться в Россию, так и не решив вопрос с подавлением революций в Испании и Неаполе. Меттерних вспоминал, что, получив известия о бунте, русский Император сразу же сказал ему, что за возмущением стоят «радикалы».

Мнительности, тем более болезненной, на самом деле здесь не было никакой. С возмущения войск начались и испанская, и неаполитанская революции, и там эти возмущения были хорошо организованы заговорщиками и отнюдь не стихийны. Прекрасно зная русских солдат вообще и Семеновский гвардейский полк в частности, Александр не мог не понимать, что форма возмущения для русских солдат, тем более для гвардейцев, была необычной и, следовательно, за их действиями просматривается направляющая рука. И наконец, только Шильдер упоминает о подметном письме, от имени семеновцев подброшенном в лейб-гвардии Преображенский полк, с призывом присоединяться к восстанию. Другие историки, описывая Семеновский бунт, о письме не вспоминают. А между тем письмо это было хорошо известно Александру уже 28 октября 1820 года. Письмо было составлено очень грамотно, книжно, явно не солдатом, а европейски образованным человеком. И человеком этим оказался (если верить следствию) бывший семеновец, в начале царствования весьма обласканный Александром «свободомысл» Василий Назарович Каразин, арестованный и впоследствии сосланный. Измена когда-то близкого человека больно ранила Александра. «Переписка о Семеновском деле, напечатанная в „Русском архиве“ (1875, № 3, 5 – 8, 12), – отмечает через полвека современник этих событий П. А. Вяземский, – убеждает нас, что сей бунт был не просто солдатский»<sup>252</sup>.

Еще до возвращения с Конгресса в Россию Императору была доставлена служебная записка начальника штаба гвардейского корпуса А. Х. Бенкендорфа, в которой назывались десятки имен членов русского тайного общества, поставившего себе целью свержение монархии и ликвидацию традиционной государственности в России. Среди заговорщиков были представители самых знатных фамилий, люди, облеченные властью и связанные воинской и дворянской присягой. Причин не доверять верному генералу не было, и бунт 14 декабря подтвердил правильность его донесения. Как только 24 мая 1821 года царь вернулся в Царское Село, ему была доставлена записка командира гвардейского корпуса князя Илариона Васильчикова, в которой о заговоре говорилось еще детальней и подробней. Вызванный Императором, генерал услышал странные в таких обстоятельствах слова: «Мой дорогой Васильчиков, Вы, служивший мне с самого начала моего царствования, Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии. Не мне подобает карать» (цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 471; перевод с французского).

И действительно, Государь не осудил никого из заговорщиков. Оставаясь на высоте христианского великодушия, он старался не карать, но обогнать их в преобразовании русской жизни; не наказывать, но просветить членов тайных обществ тем светом Истины и Любви, который сиял в нем самом. Он изучил сам и послал в 1822 или 1823 году для изучения великому князю Константину Павловичу устав Союза благоденствия, желая лучше понять, что заговорщики думают преобразовать в России<sup>253</sup>. Но, поступая так, он отнюдь не заблуждался в отношении противогосударственной деятельности революционеров. «Есть слухи, – писал Император в записке, относящейся, по всей видимости, к 1824 году и найденной среди его бумаг уже после воцарения Николая Павловича, – что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит, или по крайней мере сильно уже разливается, и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам

тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковых командиров, сверх того большая часть штаб- и обер-офицеров»<sup>254</sup>.

Теперь мы прекрасно знаем, что в России тайные дворянские революционные общества существовали с 1816 года, что большинство из них действительно вдохновлялись масонами-иллюминатами, итальянскими карбонариями и греческими гетеристами, что в их руководство на самом деле входили отпрыски лучших семей России и преобразования ими намечались самые радикальные, вполне в революционном французском духе 1789 – 1793 годов, вкупе с планами убийства Государя и всего царского рода. Но возбудить к возмущению армию и народ заговорщики предполагали указанием на те действительные страшные язвы русской жизни, которые в первую очередь военными поселениями пытался исцелить Император Александр Павлович.

Через много лет после возмущения 14 декабря 1825 года на Сенатской площади один из декабристов, тогда капитан-лейтенант восьмого флотского экипажа, Николай Александрович Бестужев, вспоминал, что сразу же после принесения столичной гвардией присяги Константину 27 ноября он с братом Александром и Рылеев «решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя (Александра I. – А. З.), в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15-ти лет солдатская служба». «Нельзя представить жадности, с какою слушали солдаты; нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом», – добавляет Бестужев<sup>255</sup>.

Истинной трагедией России было то, что недовольные существовавшим порядком вещей жаждали революции, мгновенного изменения жизни и совершенно не были готовы и не понимали по необходимости медленных преобразований

гражданского и духовного строя огромной и косной страны. Консерваторы же, которых в русском, как и в любом, обществе было большинство и среди которых были столь блестящие и образованные люди, как историк Карамзин или адмирал Мордвинов, с неприязнью и страхом смотрели на любые новшества, будь то закон о вольных хлебопашцах, военные поселения, польская конституция или распространение Писания на русском языке. Царь в их представлении должен был быть не преобразователем жизни, но хранителем отеческих устоев. «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола», – выражал общее мнение консерваторов Карамзин<sup>256</sup>.

Бунт в Семеновском полку Александр пережил крайне болезненно и, наказав виновных (впрочем, по меркам XIX века, крайне мягко), усиленно продолжил работу по расширению военных поселений и религиозному просвещению общества. Но чем дальше, тем больше Император был вынужден планировать свои преобразования в глубокой тайне, доверять их только узкому кругу близких к нему лично друзей. И только эти близкие люди, знавшие и понимавшие Александра, оставались, несмотря на все превратности жизни, преданными его сотрудниками, вдохновленными широтой и глубиной его устремлений. В гражданских реформах его опорой был в первую очередь Аракчеев, а вслед за ним Новосильцев и Кочубей. Преобразования в духовной сфере осуществлял «не подданный, а друг» – князь А. Н. Голицын и бесконечно почитаемый и царем и Голицыным епископ (позднее – митрополит) Филарет (Дроздов).

Описывая атмосферу конца Александрова царствования, С. Г. Пушкирев замечает: «Мрачная и тусклая фигура гатчинского капрала Аракчеева окончательно заслонила от России некогда светлый облик Александра Благословенного. Он окончил свои дни в далеком Таганроге в полном моральном отчуждении от русского общества и атмосфере всеобщего разочарования и недовольства, а то и прямой враждебности»<sup>257</sup>. И это весьма точная характеристика если не фигур, то общественных

настроений. Но самое поразительное, что никаких объективных причин для такой ненависти к Благословенному в последние годы его царствования не было. Реформы Александра, и в первую очередь создание военных поселений, вовсе не были маниловщиной. К концу его царствования на режим военных поселений была переведена треть русской армии. Четверть миллиона солдат была обустроена, просвещена, соединена с семьями, обеспечена медицинской помощью, обучена новейшим приемам агротехники. Национальные и религиозные меньшинства Империи пользовались свободой, Польша, Финляндия и Бессарабия действовали в рамках локальных конституционных хартий, и была готова уже хартия для всей России. Для Александрова царствования была в высшей степени характерна исключительная национальная и религиозная терпимость, отсутствие какого-либо чванства перед нерусскими народами и неправославными исповеданиями. Вручая бриллиантовый фермуар сестре генерала Рудзевича – крымского татарина, мусульманина, Александр объяснял своим адъютантам: «Я не различаю ни дворян, ни разночинцев, ни бедных, ни богатых; мне все равны, если служат хорошо. Рудзевич татарин, но мне дороже, чем иной столбовой дворянин»<sup>258</sup>.

Никогда ни до, ни после Александра до самого конца абсолютизма в России люди не ощущали себя так свободно и так безопасно, как при Благословенном Императоре. Будущие декабристы действовали практически совершенно открыто, и Царь не пресекал их «тайной» политической деятельности, наказывая за бунты, но не за слова и писания. Цензура практически была отменена уставом 1804 года, иностранная литература ввозилась в Россию невозбранно, правила въезда и выезда граждан и иностранцев, учеба русских за границей и учеба иностранцами русских в России были упрощены до предела. Писали и читали что угодно. Даже консерваторы, противники Александровой политики – тот же Карамзин – позволяли себе писать самодержавному Царю в резко критическом тоне. За 25 лет Александрова царствования свободное и открытое выражение мыслей сделалось



привычкою, его перестали замечать как нечто вполне естественное, как дыхание.

Картинка состояния умов конца царствования Александра сохранена для нас в записках А. И. Кошелёва: «И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-тилетним юношей, у внучатного моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 г. На этом вечере были Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec se gouvernement...* Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления»<sup>259</sup>.

Даже в собственной семье, где Александра величали «нашим ангелом», не понимали и строго осуждали его политику. Незадолго до войны 1812 года сестра Александра Екатерина и ее супруг принц Георг Ольденбургский создали у себя в Твери, где принц был генерал-губернатором (ярославским, тверским и новгородским), настоящую штаб-квартиру консервативно-охранительных сил, недовольных либеральными начинаниями Александра. Взглядам этого кружка симпатизировала Императрица-мать Мария Федоровна. Не раз гостил в Твери у великой княгини и Карамзин, и как раз Екатерина Павловна предложила историку изложить резюме их тверских бесед для Императора: «Брат мой достоин их слышать». Так родилась «Записка о древней и новой России».

«Царь хотел дать нам права, но никто его не понял. Более того, число недовольных росло с каждым днем», – записал в свой дневник флигель-адъютант Александра I А. И. Михайловский-Данилевский (см.: Волков В. Е. и Конюченко А. И. Русские императоры XIX века. Челябинск, 2003, стр. 88). В это время начинает змеиться та трещина в отношениях русского

образованного общества и власти, которая развернется пропастью к концу XIX столетия и поглотит Россию в 1917 – 1922 годах, сомкнувшись над ней коммунистической деспотией.

## § XI

За четверть века своего царствования Император Александр I прошел возвратный путь от внешнего к внутреннему, от эвдемонии к сотерии, от отцеубийства – к долгой коленопреклоненной молитве, от разгула страстей, чуть ли не кровосмешения (ходили сплетни о его отнюдь не братских отношениях с сестрой Екатериной) – к сознательному восстановлению семьи, от реформации институтов – к духовному просвещению народа, от безудержного раздвигания границ Империи – к утверждению принципов веры, нравственности и справедливости в международных отношениях. К концу царствования Александра сотерическая аксиология проявила себя в верховной власти так глубоко, как не проявлялась она, пожалуй, в России с XV столетия, с северорусских судных грамот, с игумена Сергия и митрополита Киприана. И вдруг произошел слом.

Если для фиксации процесса нужна временная поворотная точка, то слом александровских великих реформ можно соединить с 15 мая 1824 года. В этот день Государь объявил о ликвидации Двойного министерства – Духовных дел и народного просвещения, созданного в 1817 году и бессменно возглавляемого председателем Российского Библейского общества князем Александром Голицыным.

«Вот видишь, Александр Николаевич, не вышла наша с тобой затея», – сказал, увольняя в отставку Голицына, Император. Сказал, должно быть, с горечью. Князь был уволен, министерство расформировано, но никакого недовольства старым другом у Александра не было. Он предложил Голицыну сохранить портфель министра почт, место в Государственном совете и, что самое главное, настоятельно просил продолжать свободное дружеское общение. Частые встречи Голицына и Александра, обмен глубокими духовными письмами не прекращались до самого конца царствования. Александр упразднил министерство, следуя не внутренней убежденности, но уступая общественному мнению. Хотя в России и принято во

всем винить власть, но необходимо признать – Александр отрекся от программы религиозного просвещения народа под давлением общества. Из нашего времени видна трагическая ошибка Царя, пошедшего против своих убеждений в угоду русскому общественному мнению. Ошибка, соизмеримая с ошибкой 2 марта 1917 года и, очень вероятно, эту вторую ошибку предпринимавшая.

Чтобы понять масштаб и значение 15 мая 1824 года, необходимо вспомнить, чем же в замыслах Александра было Министерство духовных дел и народного просвещения. Оно было создано по указу от 14 октября 1817 года во исполнение обета, данного при создании Священного союза. Восстановление живой и сознательной веры народа, по убеждению Александра, было единственным основанием для будущей «федерации христианских государств», а эта живая и сознательная вера в столь одичавшем народе, как русский, могла быть восстановлена только через распространение грамотности рука об руку с распространением Писания и с активизацией общественного служения Церкви. В самом указе 14 октября объявлялось, что министерство учреждается, «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения», чтобы восстановилось «спасительное согласие между верою, ведением и властью». «Это был замысел религиозного возглавления или сосредоточения всей культуры», – подчеркивает о. Георгий Флоровский<sup>260</sup>.

Типологически министерство князя Голицына очень напоминало ведомство военных поселений графа Аракчеева. В обоих случаях Император через близких и беспредельно верных ему людей создавал механизм для выправления катастрофических последствий правления своих предшественников. XVIII век оставил ему в наследство две величайших социальных болезни: рабство большей части россиян и их религиозную одичалость, грозившую полным перерождением Православия в магический обиход шаманского типа в поработанном простонародье и в холодное обрядоверие рабовладельцев. Для исправления ситуации Александр применил самый мощный рычаг из существовавших в

тогдашней России – рычаг абсолютной монархической власти, также оставленный ему в наследство XVIII веком. Через военные поселения и Библейское общество он искренно надеялся освободить и просветить Россию. В предшествовавшем столетии именно монархи ради воздвижения Империи и упрочения собственной власти разрушили русское общество и обескровили Православную веру, – исправить это пагубное положение следовало тоже с высоты трона.

Исправляя ошибки предков, Александр меньше всего был традиционалистом, желавшим возвращения в допетровские времена. В отличие от появившихся в следующее царствование славянофилов, ретроспективная утопия не вставала перед его умственным взором. Лучшие достижения современной ему Европы – гражданская свобода, сознательная вера, всеобщая образованность, демократические политические учреждения, гуманное отношение к каждому человеку – вот что желал он дать своему народу. Но он твердо знал, что нельзя просто освободить крестьян, положившись на их природную смекалку и здоровый дух. Также и в религиозной сфере Александр, глубоко почитая святыню Православия, не решился отдать великое дело возрождения народной души в руки Церкви. Министерство Голицына было создано помимо Синода и над Синодом. В собственные силы священноначалия Русской Православной Церкви Император не особенно верил. Отец Георгий Флоровский очень точно замечает: «Петровское государство подчинило себе Церковь скорее извне и во имя мирского задания, ради „общего блага” вымогало терпимость к обмирщению жизни. При Александре I государство вновь сознает себя священным и сакральным, притязает именно на религиозное главенство, навязывает собственную религиозную идею. Сам обер-прокурор (Синода. – А. З.) как бы „вступает в клир Церкви” в качестве „местоблюстителя внешнего епископа” (приветствие Филарета Московского князю А. Н. Голицыну)»<sup>261</sup>.

Мы помним, что за семь лет существования министерство князя Голицына воистину совершило духовную революцию, издав сотни тысяч русских переводов Священного Писания,

бесчисленное количество назидательных брошюр, катехизисы. За это же время были созданы учительские и священнические семинарии, шла разработка новых программ подготовки учителей. Ко дню упразднения министерства началась реализация громадной программы издания полной Библии в русском переводе. Пятикнижие Моисеево было напечатано как раз в 1824 году (русский перевод Псалтири опубликован был несколькими годами раньше). Через губернские отделения Библейского общества министерство распространяло изданную литературу и наблюдало за соответствием практики преподавания программам министерства. Масштаб реформы, осуществлявшейся князем Голицыным, был громаден. Но реакция на нее и современников, и потомков была точно такой же, как на военные поселения.

Недоброжелательный Карамзин называл ведомство князя Голицына «министерством затмения» и публично объявлял, что не сочувствует «мистической вздорологии» Библейского общества. «Соединение двух министерств последовало с тем намерением, чтобы мирское просвещение сделать христианским. Отныне кураторами будут люди известного благочестия немудрено, если в наше время умножится число лицемеров», – писал он 18 января 1817 года своему confidentу И. И. Дмитриеву<sup>262</sup>. «Явное несочувствие со стороны общества вызвали попытки „мирское просвещение сделать христианским“, которые находились в прямом соотношении с мистическими настроениями самого Александра», – пишет об этом С. Ф. Платонов<sup>263</sup>. Н. К. Шильдер и великий князь Николай Михайлович не скупятся на самые негативные и уничижительные характеристики религиозных устремлений Императора. Николай Михайлович называет его религиозные переживания «психозом, приближающимся к какому-то общему сумбуру разума и мыслей», а то и просто «маразмом»<sup>264</sup>.

Понятно, что отталкивание Карамзина от духовных реформ Александра – вовсе не из-за боязни расцвета лицемерия. И Карамзин, и большая часть современного ему русского общества, и историки последних десятилетий старой России

являлись людьми светскими, либо вовсе не церковными, либо теплохладными в делах веры, живущими интересами дольными, а не горними. Для них религиозный порыв Александра и Голицына был в существе своем непонятен, казался чуть ли не сумасшествием, а попытка религиозно просветить Россию – совершенно излишней.

Эти настроения, хорошо известные Александру, мало смущали его. Но неожиданным и трагическим стало для Государя неприятие его духовных преобразований большинством священноначалия и клира Русской Церкви. Открыв для себя Христа и Церковь, Государь с детской непосредственностью искал духовной помощи и у известных старцев-подвижников, и у виднейших архиереев. Как и многим неофитам, все в Церкви казалось ему святым и чистым, исполненным Божественной мудрости и горнего света. «При первом вступлении моем в Лаврскую церковь, – писал Император, например, о посещении Киево-Печерской лавры в 1816 году, – такое благоговение наполнило мою душу и такие чувствования проникли, что могу с Павлом сказать „был еще в теле или еще кроме тела – не вем, Бог весть”»<sup>265</sup>. Мы помним, с каким невероятным благоговением и смирением испрашивал он иерейские благословения и наставления схимников, как горячо молился дома, в церквях и на мощах святых. Но именно от лица Церкви и началось восстание на его духовные преобразования.

Дело в том, что в Библейском обществе и Двойном министерстве рука об руку работали православные архиереи, профессора православных духовных школ и видные масоны христианско-пиетического направления, нецерковные мистики. Рядом с митрополитами Михаилом (Десницким), Филаретом (Дроздовым) и Серафимом (Глаголевским), ректором Санкт-Петербургской духовной академии архимандритом Иннокентием (Смирновым), ректором Московской академии архимандритом Поликарпом (Гайтанниковым), ректором Киевской академии архимандритом Моисеем (Антиповым-Платоновым), профессором о. Герасимом Павским, рядом со всеми этими столпами православной учености усердно трудились видные

масоны – Родион Кошелев, Н. Бантыш-Каменский, Захарий Карнеев, Александр Лабзин, А. А. Ленивцов, В. М. Попов. В этом, видимо, и состоял замысел Императора и Голицына, чтобы в совместной работе благочестие «вольных каменщиков» соединилось с возрождающимся церковным Православием. Но лишь мудрый святитель Филарет видел за масонскими чудачествами благородные верующие души и помогал их возвращению в сакраментальную полноту Церкви, понимая, что «любопытность тем сильнее порывается на пути незаконные, где не довольно устроены пути законные». Большинство же православных архиереев и ректоров-архимандритов все более возмущались дипломатией князя Голицына, воспрещавшего критику конфессий друг другом и печатавшего наряду с православными и инославные, а то и прямо нецерковно-мистические сочинения (Бёме, Эккартсхаузен, Сан-Мартен и т. п.). Их возмущало, что издания Библейского общества пользуются особым спросом в среде сектантов – молокан, духоборов, хлыстов – и среди старообрядцев. Они не хотели понимать, что доброжелательное отношение к сектантам и старообрядцам, забота о просвещении их – сознательная политика Двойного министерства, выправлявшего таким образом застарелое преступление, оттолкнувшее в XVII – XVIII веках множество взыскующих духовной Истины людей от Православной Церкви, а часто и от управлявшего ею государства.

Осенью 1822 года Александр воспретил все тайные общества, в том числе и масонские ложи, опасаясь политического радикализма. Это на время успокоило испуганных архиереев. Но, с другой стороны, Голицын, случалось, без колебаний прибегал к Высочайшей воле и цензурным репрессиям. Так, например, за допуск в печать книги некоего Евстафия Станевича, в которой содержалась критика русских масонов и Двойного министерства, был сослан в Пензу цензор ректор-архимандрит Иннокентий, один из самых ревностных сотрудников Библейского общества, даже и в Пензе переводивший Библию на мордовский язык, а само издание уничтожено. «Чувство меры и трезвая перспектива были



потерины... – резюмирует это противостояние о. Георгий Флоровский. – В разыгравшемся споре и борьбе обе стороны были только полуправы, и обе были очень виноваты...»<sup>266</sup>

Но нельзя забывать, что сама эта болезненная ситуация порождена была синодальной эпохой. Церковь не мыслила себя уже свободной, да и отвыкла ею быть. Духовные родники в ней ослабели, образованность – угасла. Русское священноначалие не имело сил обращать европейски образованных розенкрейцеров и мартинистов к преданию Отцов, которое и в Духовных академиях было порядком забыто. Богословие в церковной школе поощряли тогда только митрополит Филарет и его ученики.

С другой стороны, сама царская власть продолжала считать себя ответственной за духовное благополучие общества. По традиции XVIII века от Церкви ожидалось исполнение воли императорской власти, а не свободное духовное деланье. Ведь даже в Уставной Грамоте Новосильцева в 20-й статье было прописано: «Как Верховная Глава греко-российской Церкви, Государь возводит во все достоинства духовной иерархии». Император просто не мог восстановить симфонию допетровского времени, во-первых, потому, что сама Церковь не желала этого; во-вторых, потому, что, ослабленная Петром и Екатериной, не могла вдруг принять бремя полной ответственности, и, в-третьих, потому, что о самом принципе симфонии было тогда крепко забыто.

Митрополит Новгородский Михаил (Десницкий), митрополит Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский), митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) и архиепископ Ярославский Симеон (Крылов-Платонов) были согласны друг с другом, во-первых, в том, что князь Голицын, не спрашивая их, самоуправствует в делах церковных, требует частых проповедей, церковного учительства, винит и архиереев, и их клириков в безграмотности и бездумном требоисполнительстве; во-вторых, они были недовольны распространением русского текста Священного Писания, который, по мнению этих маститых архиереев, подрывает святость и авторитетность богослужебного церковно-славянского языка и чтение на

котором Библии может породить бесчисленные расколы и ереси; и, наконец, архиереи были уверены, что эти реформы вдохновляются неправославным духом, в котором пребывает князь Голицын, общающийся с западными еретиками – лютеранами, квакерами, генгутерами, масонами. «Обвинительный акт» на Голицына написал старый митрополит Михаил и отправил его Государю в Лайбах. Когда Император получил письмо, высокопреосвященного уже не было в живых, а по монастырям распускались слухи, что его убил масон Голицын. И слухам верили.

Противники Голицына подготовили и еще два хорошо рассчитанных удара. Один должен был обезвредить главного союзника Александра и Голицына среди священноначалия – святителя Филарета Московского (Дроздова), другой – использовать растущие страхи Государя перед революционным заговором. Это была интрига, проведенная по всем придворным правилам, и важно понять: Русская Церковь как *корпорация* более иных сил ответственна за крах Александровых реформ и, возможно, за безвременный конец самого царствования Благословенного.

Главным орудием заговора был избран архимандрит Юрьевского Новгородского монастыря Фотий (Спасский). Недоучившийся в Петербургской академии по болезни молодой иеромонах (1792 года рождения) считал себя пророком и орудием Святого Духа. Как и многие ограниченные интеллектуально люди, он с подозрением относился к большой учености. Не доверял он и традиции Церкви, полагаясь на собственные духовные дарования. Отец Георгий Флоровский дает Фотию такую характеристику: «Перед нами экстатик и визионер, почти что вовсе потерявший чувство церковно-канонических реальностей и тем более притязательный, совсем не смиренный. Это образ самозваного харизматика, очень самомнительного и навязчивого, всегда создающего вокруг себя атмосферу какого-то изолирующего возбуждения. Это типический образ прелести, страшный закоулок или тупик ложного аскетизма. Всего менее слышится в неистовых воззваниях и выкриках Фотия голос церковной старины или

древнего предания... „Святых отец не имею”, – писал он сам, – „одну Святую Библию имею и оную читаю”. Фотий был не столько суеверен, сколько был изувер...»<sup>267</sup>

В 1822 году князь Голицын знакомится у графини Анны Орловой с молодым архимандритом, и тот производит на него самое благоприятное впечатление истово верующего и духовного человека. Начинается их дружба, вполне искренняя со стороны князя. Очарованный «новым Златоустом», князь Голицын 5 июня 1822 года устраивает Юрьевскому архимандриту аудиенцию у Императора. Александр отнесся к Фотию почтительно, проговорил с ним полтора часа, преклонив колени, просил его молитв и благословения, просил писать.

Фотий, за которым стоял митрополит Серафим, воспользовавшись этими предложениями и расположением Царя, обрушивает на Александра одно послание страшнее другого. Пишет о своих снах и молитвенных откровениях, в которых Дух якобы требует от Царя покончить с Библейским обществом, Голицыным и масонами, которые замышляют революцию, «отступление от веры Христовой и перемену гражданского порядка по всем частям». Ангел приносит ему то одну, то другую изданную Библейским обществом книгу и раскрывает ее тайный революционный смысл. Наконец, и сами Библии больше не надо издавать, так как «уже много напечатано Библий». Дух повелевает Фотию сообщить Царю, что следует «Министерство духовных дел упразднить, а другие два (образования и почт) отнять от настоящей особы (кн. Голицына. – А. З.)... Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит Он и духовного Наполеона лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующу, победить в три минуты чертою пера»<sup>268</sup>. Наконец, на Вход Господень в Иерусалим в 1824 году в доме графини Орловой Фотий, повстречавшись с князем Голицыным, сбросив маску сердечной дружбы, анафематствовал министра и проклял его.

За безумствами Фотия Император ясно видел заговор священноначалия Русской Церкви против Голицына и Библейского общества. К заговору этому примкнул, увы, и граф Аракчеев, ревновавший царя к Голицыну и Кошелёву. Чиновник

особых поручений при А. Н. Голицыне фон Гёц, бывший свидетелем этой интриги, вспоминал впоследствии: «Совместником в царской милости оставался для него только князь А. Н. Голицын. К его устранению Аракчеев воспользовался негодованием той части духовенства, которая желала, чтобы Министерство духовных дел было упразднено. Не надо, впрочем, думать, чтобы Аракчеев сочувствовал монашескому изуверству. Оно ему было нужно только как орудие»<sup>269</sup>.

После выходки Фотия в отношении своего друга и покровителя князя Голицына граф Аракчеев был приглашен в резиденцию митрополита Серафима в Александро-Невской лавре. Во встрече принимал участие и Фотий. «Во время этого совещания митрополит снял свой белый клобук и, бросив на стол, поручил графу Аракчееву сказать Государю, что он скорее откажется от сана, чем помирится с князем Голицыным, с которым не может служить как „с явным клятвенным врагом церкви и государства”», – повествует Шильдер<sup>270</sup>.

Это был ультиматум Государю. Впервые с эпохи Никона Русская Церковь осмелилась говорить с Царем на языке силы. Но на что направлена была эта сила Церкви? – На жалкую лицемерную интригу против пусть и увлекавшегося временами, но безусловно благочестивого и благонамеренного князя Голицына, никогда и в мыслях своих не являвшегося врагом ни Церкви Православной, ни Государства Российского, а, напротив, за годы своего обер-прокурорства и министерства очень много сделавшего для просвещения народа. Сила эта направлена была против Библейского общества, издававшего сотни тысяч экземпляров книг Священного Писания на понятном для народа языке, да и против самого русского перевода Библии. Сразу же вслед за увольнением Голицына новый министр просвещения адмирал Шишков и новый глава Библейского общества митрополит Серафим просят Царя общество это упразднить за ненужностью, только что отпечатанный тираж Пятикнижия Моисеева – сжечь, «Катехизис» митрополита Филарета (Дроздова), изданный в конце 1823 года тиражом 18 тысяч экземпляров, запретить к распространению. По делам рук их

познаём их. Ныне, когда ежедневное чтение Писания на русском языке считается нормой православного благочестия, а по «Катехизису» митрополита Филарета сотни тысяч русских детей и взрослых учатся началам Православной веры, мы можем дать однозначную оценку действиям митрополита Серафима, Аракчеева, Фотия и их сообщников. Мотивы их действий были различны, но филологический обскурантизм старого Шишкова, воспаленное изуверство Фотия, банальная зависть к чужой власти и славе у Петербургского митрополита и у графа Аракчеева стали той взрывчатой смесью, которой были уничтожены первые после Раскола прочные основания духовного возрождения и просвещения России, старательно возводившиеся Императором Александром и князем Голицыным. А по сути дела этой интригой была обрушена и вся система преобразований.

## § XII

Узнав об ультиматуме митрополита от своего сердечного друга Аракчеева, вспомнив недовольство Голицыным духовных особ, Император уволил князя и ликвидировал Министерство духовных дел; Библейское общество было передано митрополиту Серафиму, Министерство просвещения – адмиралу Шишкову. Благочестивый мирянин (как никогда не забывал он именовать себя в отношениях с особами духовного звания), Александр не решился бороться с Полнотой поместной Церкви, идти против воли церковного священноначалия. Первым и, кажется, последним из русских царей синодальной эпохи Александр из страха Божия смирился под волю Церкви против собственного убеждения и желания.

Не успокоившись на удалении князя Голицына, победители повели атаку на Московского митрополита Филарета и на русскую Библию. Архимандрит Фотий открыто называл «Катехизис» Филарета еретическим и тухлой «канавной водой». «Дело же перевода Нового Завета на простое наречие вечное и неизгладимое пятно на него наложило», – пророчествовал он о святителе Филарете. Шишков подавал на Высочайшее имя жалобы, что «неприлично таковым молитвам, как „Верую во единого Бога” и „Отче наш”, быть в духовных книгах переложенным на простонародное наречие (то есть на русский язык. – А. З.)», доносил, что общедоступное «чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобия и бунты». Жестко критиковал «Катехизис» митрополит Евгений (Болховитинов), а архиепископ Тверской Симеон (Крылов-Платонов) презрительно называл в своих официальных отзывах «Катехизис» «книжонкой» и находил в нем «неслыханное учение и „нестерпимую дерзость”».

И Император, смирившись, утвердил прошения Шишкова уничтожить перевод Пятикнижия и прекратить распространение «Катехизиса» Филарета. Пламя, поднявшееся от тысяч томов Священного Писания, сжигаемого на кирпичных заводах

Александро-Невской лавры, ужаснуло многих. Впоследствии «с содроганием и ужасом вспоминал об этом уничтожении Священных книг» Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров), а ныне канонизированный просветитель алтайцев архимандрит Макарий Глухарев с наивной прямоотой святых усматривал в этом невероятном кошунстве и святотатстве причину и разрушительного наводнения в Петербурге в ноябре 1824 года, и декабрьское возмущение 1825-го, и холеру 1830-го...

Последствия переворота 15 мая 1824 года, однако, еще серьезней. Религиозно взыскательная часть образованного русского общества окончательно отошла или от Церкви как таковой, или самое меньшее от священноначалия. Без правильного духовного водительства, без общения в таинствах дети екатерининских и александровских масонов-мистиков вырастали уже мало религиозными, а то и вовсе богоборчески настроенными людьми, обращая свою жажду правды на социальное переустройство общества как на высшую цель и на революцию – как на вернейшее средство. Ведь, в отличие от церковной веры, индивидуальный нецерковный пиетизм поколенчески, как правило, невоспроизводим. Из него могут быть только два пути – или в Церковь, или в агностицизм и безбожие. Церковь, сжигающая Писание, не позволяющая богословствовать ни студентам духовных школ, ни образованным мирянам в то время, когда открытия науки и изменения жизни дают столько поводов для духовных размышлений, – такая Церковь перестает быть привлекательной для религиозно взыскательных натур, и потому русские интеллектуалы начинали «верить» в науку и «молиться» на нее.

В сциентизме XIX века, и не только русском, нет ничего удивительного, если мы рассмотрим его появление как следствие современного ему церковного обскурантизма. Быть может, из-за медвежьих объятий абсолютистского и просвещенческого государства, но к XIX столетию Церковь, и православная и католическая, оказалась далеко позади умственного алкания эпохи, а протестанты, всю жизнь занимаясь наукой, постепенно переставали быть Церковью. С другой

стороны, те культурные люди, которые склонны были более к гражданско-политической деятельности, нежели к умозрительной философии, и искали в христианской вере основания для более справедливого и гуманного общества, также не обретали их в Церкви. Именовавшее себя христианским новоевропейское государство было вопиюще несправедливым и бесчеловечным, но ни на Западе, ни на Востоке христианской ойкумены Церковь не боролась за право христианина быть человеком в христианском государстве. На призывы графа Сен-Симона, аббата Ламенне, графа де Мена бороться за счастье людей не только на небе, но и на земле Католическая Церковь сочувственно ответила только в 1891 году энцикликой «*Rerum novarum*», Православная же Церковь не отвечала на подобные призывы до самого конца Империи<sup>271</sup>. Стоит ли удивляться, что, не найдя в Церкви сочувствия своим чаяниям большей социальной справедливости, люди с обостренным чувством гражданской ответственности, так же как и дети масонов, уходили в социалистические кружки и отдалялись не только от Церкви, но порой и от Бога, от имени Которого претендовало говорить священноначалие. Так поступали и многие дети священников, выпускники духовных семинарий, в которых веками выработанное нравственное чувство «колокольного дворянства» не обретало удовлетворения в опыте встречи с церковной действительностью XIX века.

Стоя во главе Европы, Александр мечтал, преобразовав Россию, улучшить и общеевропейский моральный климат. Погубив любимое детище Александра – Двойное министерство, Русская Церковь не взялась сама за исполнение его обязанностей, да и не имела сил взяться, – и общество ушло из Церкви.

В пламени, в котором сгорали тома русской Библии, сгорали и надежды Александра. Без духовного просвещения и военные поселения действительно превращались в фаланстер, в «колхоз», да и вряд ли могли существовать вообще.

Александр, по всей видимости, в восстании митрополитов увидел свое несоответствие той высокой роли преобразователя



отечества и міра, которую он намеревался сыграть. Скорее всего, застарелая боль грехов невольного отцеубийства и прелюбодеяний юности, остро мучивших его совесть после воцерковления, была важной составляющей того нравственного состояния, которое окончательно убедило Александра, что не ему, а только человеку с чистыми руками и сердцем возможно осуществить необходимые преобразования русской жизни. Поэтому и согласился он так быстро на ультиматум Петербургского митрополита, сохранив при том самое доброе расположение к нему. Покидая навсегда Петербург 1 сентября 1825 года, Государь сердечно и дружески-почтительно беседовал с митрополитом Серафимом за чашкой чая в Лавре и брал от него благословение. Сохранил он, как уже говорилось, и самое доброе отношение к жертвам интриги – князю Голицыну и Кошелёву. Александр был уже как бы по ту сторону людских распрей и страстей.

Как мы помним, Александр с молодости тяготился своим высоким положением сначала Цесаревича, а потом – Императора. Он принял престол как тяжкий крест и как огромную ответственность. Приход к вере открыл перед ним бездну собственной греховности. В отличие от своего правнучатого племянника Николая II, Александр вовсе не уповал на магическую силу таинства царского помазания, но склонялся к мысли, что, как и святая Евхаристия, как и любое таинство Церкви, царский сан для грешника – только «в суд и осуждение».

Обедая в узком кругу в Киеве 8 сентября 1817 года, Александр Павлович, как записал свидетель беседы А. Михайловский-Данилевский, «неожиданно произнес твердым голосом следующие слова: „Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в момент опасности становиться лицом к лицу с нею. Он должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это, или, чтобы сказать одним словом, до тех пор, пока он в состоянии садиться на лошадь. После этого он должен удалиться”. При сих словах на устах Государя явилась улыбка выразительная, и он продолжал:

„Что касается меня, то в настоящее время я чувствую себя здоровым, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят, тогда...”»<sup>272</sup> Придворные прервали Императора, но мысль и без того была высказана ясно.

Два года спустя Александр Павлович познакомил со своими тайными планами брата Николая. Об этой беседе, которую 13 (25) июля 1819 года Император вел с глазу на глаз с великим князем и его молодой супругой Александрой Федоровной на маневрах в Красном Селе, сохранились личные записи обоих конфиденентов Государя. Записи эти, использованные придворным историком Н. К. Шильдером, сколь мне известно, еще ждут своего издателя, но фрагменты из них историк решился привести в русском переводе с французского в своем неоконченном предсмертном сочинении о Николае I. Александра Федоровна вспоминает, что они с супругом «сидели как окаменелые», когда Государь вдруг стал объяснять им, что Николаю надо готовиться заместить его на престоле еще при его жизни: «Кажется, вы удивлены; так знайте же, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне более, чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомству. Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира (*a me retirer du monde*)». «Видя, что мы были готовы разрыдаться, – продолжает Александра Федоровна, – он постарался утешить нас, успокоить, сказав, что все это случится не тотчас, что, может быть, пройдет еще несколько лет прежде, нежели он приведет в исполнение свой план»<sup>273</sup>.

Будущий император Николай Павлович воспроизводит эту знаменательную беседу со старшим братом с большими подробностями. «Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшею дочерью Мариєю), что он счастья сего никогда не знал, виня себя в

связи, которую имел в молодости, что ни он, ни брат его Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь оценить с молодости сие счастье, что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тягостное. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших постоянных трудов, что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг, как он его понимает, и что потому он решился, ибо сие считает долгом, *отречься от правления* с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно говорил о том брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, *решительно не хочет ему наследовать на престоле*, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы *призываемся на сие достоинство*. С тех пор Государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространялся более об оном...»<sup>274</sup>

Готовясь к осуществлению своего плана, 16 августа 1823 года Александр подписал манифест, составленный митрополитом Филаретом (Дроздовым) и князем А. Н. Голицыным, в котором определено указывалось, что «Наследником Нашим быть второму брату Нашему, великому князю Николаю Павловичу». Манифест этот не был нарушением закона о престолонаследии – к нему было приложено отречение от прав на престол, подписанное братом Константином. Три экземпляра манифеста с копиями иных бумаг, проясняющих престолонаследие после кончины Александра, были тогда же вручены для совершенно секретного хранения трем ближайшим к Государю лицам – митрополиту Филарету, графу Аракчееву и князю Голицыну. Почему секретно, почему тайно? Ясных объяснений этому нет<sup>275</sup>.

Складывается впечатление, что Александр, хорошо разбиравшийся в людях, вовсе не был уверен, что его брат Николай сможет и, главное, захочет завершить дело

освобождения России. Зная о готовящемся заговоре тайных обществ, он не спешил пресечь его. Это был бы иной выход – кровавый и жестокий, как во Франции и Испании, но, быть может, именно так судил Бог наказать Россию, ее высшие классы за преступления XVIII столетия, коль никак не исправлялись эти преступления мирными реформами с высоты трона, встречая непримиримую оппозицию большинства дворянства и духовенства? Может быть, Государь увидел бездну, разверзшуюся перед Россией, и не чувствовал себя ни достаточно сильным, ни тем более достойным провести страну через нее. Или брат Николай с его твердым и простым солдатским характером сделает это, или – революция. Пусть решает Господь.

К Императору приходили все более серьезные предупреждения о готовящемся заговоре радикальных масонов-иллюминатов – будущих декабристов, но он не предпринимал практически никаких мер даже к обеспечению собственной безопасности, тем более – к пресечению смуты. «Я знаю, что я окружен убийцами, которые злоумышляют на мою жизнь», – признавался Александр одному польскому генералу во время последнего своего посещения Варшавы в мае – июне 1825 года<sup>276</sup>. Как мы теперь знаем, «цареубийственный кинжал» действительно был уже обнажен будущими декабристами: М. П. Бестужеву-Рюмину было поручено организовать убийство Государя в Таганроге. И Император ничего практически не делал, чтобы отвести его. Быть может, Александр думал, что, пав жертвой заговорщиков, он понесет достойное воздаяние за отцеубийство и откроет путь к исполнению над Россией воли Божьей? Кто знает? Таинственны глубины сердца человеческого.

В июне 1824 года скоропостижно от чахотки умирает любимая внебрачная дочь Императора шестнадцатилетняя Софья Нарышкина, и он смиренно и покаянно переносит эту страшную утрату. В ноябре ужасное наводнение разрушает значительную часть столицы. И он только себя винит в разгуле стихий. Он знает – за грехи царя отвечает народ. «Все так мрачно вокруг меня», – признается Государь своей невестке

Александре Федоровне 28 ноября 1824 года. И никто не поддерживает его. Митрополит Серафим и буйный Фотий всецело поглощены новой интригой против митрополита Филарета. До духовных ли состояний Государя им в эти месяцы?

Размышляя о причинах приближения ко двору Николаем II различных проходимцев и авантюристов вроде Филиппа или Распутина, о. Георгий Шавельский, прекрасно знавший, как протопресвитер армии и флота, дворцовые настроения, писал, что ни последнему Царю, ни его супруге и в голову не могло прийти побеседовать начистоту, как мирянам с архиереем, с Петербургским, например, митрополитом, да и сам митрополит был бы смущен донельзя такой беседой. А не началась ли эта незримая духовная пропасть между священством и царством в России, столь трагически завершившаяся и распутинщиной, и спешным признанием Синодом Временного правительства, не началась ли она в те последние годы царствования Благословенного, когда русское священноначалие, за одним исключением святителя Филарета, отвергло руку, протянутую Царем для сотрудничества в деле возрождения России и равнодушно прошло мимо страждущей души самого несчастного Государя?

Предание о старце Федоре Кузьмиче, скорее всего, так и останется преданием. Ни опровергнуть идентичность Томского чудотворца Государю Александру Павловичу, ни подтвердить мы, видимо, с математической точностью никогда не сможем. Но сколь естественно для этой возвышенной души было сделать то, к чему призывал всех людей великий современник Александра – преподобный Серафим Саровский. Если уж не удалось преобразить Россию с высоты трона из-за бремени остро ощутимых грехов, то тогда можно очистить грехи смиренным подвигом самоотречения и так стяжать «дух мирен», от которого тысячи вокруг спасутся. Вряд ли случайно тогда и новое избранное Александром имя – Федор Кузьмич – «Богом данное сокровище».

Но независимо от того, закончил ли свои дни Государь Александр Павлович в Таганроге 19 ноября 1825 года или в тот

же день взошел по сходням английского торгового судна, идущего с грузом зерна в Бристоль, чтобы вернуться безвестным странником в свое отечество через двенадцать лет и стать свидетелем тридцатилетнего царствования брата Николая и великих реформ племянника Александра<sup>277</sup>, для историка России важно иное – великий план преобразований, по размаху сравнимый с петровским, но идущий в противоположном направлении, совсем не по заезженным публицистами осям «Восток – Запад», «традиционное – современное», но по иной оси: «сотерия – эвдемония», – план этот не удалось воплотить Александру.

И если он действительно умер в то холодное и дождливое утро 19 ноября, простудившись несколькими неделями раньше на прогулке у Байдарских ворот в Крыму, то тогда на нем нет никакой вины за неудавшиеся реформы. Не Александр остановил их, а Провидение, и в уступке с ликвидацией Двойного министерства следует видеть тогда только политический маневр, отход на новые рубежи, с которых можно было успешней продолжать преобразование российской жизни. Но если Государь в том ноябрьском уходе осуществил свою давнюю, еще юношескую мечту о частной жизни, если отчаялся он под бременем горестей и утрат, неудач и предательств, то тогда в последующей русской трагедии есть немалая толика и его вины – цена его малодушия. И страшно смыкается тогда мнимая смерть Александра с политической смертью его правнучатого племянника, записавшего в ночь со второго на третье марта 1917 года: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!» Кругом ли только – не в тебе ли самом?

Впрочем, не нам судить святых.

### § XIII

Александрово царствование почти точно на столетие отстоит от царствования Петрова, и, сравнивая их, легко увидеть, какой огромный нравственный путь прошло русское общество за это время. Подавив стрелецкий бунт 1698 года, вряд ли ставивший серьезные политические цели, молодой царь Петр Алексеевич вел допрос в Преображенском с применением ужасающих пыток, повелел казнить тысячи людей, рубил головы собственноручно, а семьи казненных подвергал жестокой опале.

Подавив декабрьское вооруженное возмущение 1825 года, стремившееся к изменению всего политического строя России, к царевубийству и приведшее к человеческим жертвам, молодой Государь Николай Павлович привлек к следствию 579 человек, из которых виновными были признаны 289 человек. Из этих последних Верховному уголовному суду преданы были 121 человек. Из них Государь отправил на эшафот пять человек, а остальным смягчил меру наказания, сохранив жизнь. Впоследствии участь осужденных к каторжным работам и к разжалованью в солдаты неоднократно смягчалась. Из участвовавших в восстании солдат был сформирован сводный четырехтысячный гвардейский полк, отправленный на Кавказ, «под пули горцев»; правда, 178 нижних чинов были приговорены к прогону сквозь строй тысячи солдат от одного до двенадцати раз да 23 солдата наказаны палками и розгами. Но никаких пыток при допросах и в помине не было. Пытки были отменены Александром.

Николай испытывал тяжкие терзания и во время подавления бунта, когда пришлось отдать приказ стрелять «по своим», и во время следствия, и при конфирмации приговора. «Милая и добрая матушка, – писал Николай Павлович Императрице Марии Федоровне, – приговор состоялся и объявлен виновным. Не поддается перу, что во мне происходит; у меня прямо какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить. К этому, с одной стороны, примешивается

какое-то особое чувство ужаса, а с другой – благодарности Господу Богу, Коему было благоугодно, чтобы этот отвратительный процесс был доведен до конца»<sup>278</sup>. Император Николай считал себя «самым несчастливым из государей, потому что вступил на престол ценою крови своих подданных» (письмо графу Ф. В. Остен-Сакену вечера 14 декабря 1825 года – «Русский архив», 1884, кн. 6, стр. 241). У него и в уме не было мстить кому-либо из близких родственников тех, кто были осуждены за возмущение 14 декабря. Семьям казненных и отправленных в каторгу декабристов, которые с потерей кормильца лишились средств к достойному существованию, Император тайно оказывал большую материальную помощь.

В манифесте от 13 июля 1826 года, подводившем итог делу 14 декабря, Император Николай I провозглашал: «Наконец, среди общих надежд и желаний, склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные им члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства передает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский»<sup>279</sup>.

Как бесконечно далеки эти слова, воплотившиеся в дела, от кровавых ужасов Петра и Анны Иоанновны, и сколь еще дальше они от преступлений тоталитарных режимов XX века, когда быть родственником «врага народа» считалось тяжким уголовным преступлением. И нельзя не согласиться, что тогда, в 1825 году, государственная власть в России находилась на невиданной ни в XVIII, ни в XX веке нравственной высоте.

Но изменилось и общество. Старое русское гражданское общество, восстановившееся и обновившееся в борьбе с польской интервенцией в последние годы Смуты XVII века, исчезло в Расколе и петровских преобразованиях. После расправы со старообрядцами охотников умирать за идею в русском обществе почти не осталось. Боролись и даже умирали



в XVIII веке (если не считать воинских подвигов) главным образом за свои интересы. Мы помним, что практически все свободные сословия высказывались за крепостное право в отношении сословий несвободных и голосов, подобных голосу Радищева или Новикова, почти не было слышно в царствование Екатерины. Не было почти слышно и голосов в защиту унижаемой Православной Церкви ни со стороны духовенства, ни со стороны мирян – мужественное исповедничество святителя Арсения Мациевича так и осталось единичным фактом для XVIII столетия.

Александрово царствование многое изменило. Сам Государь дал пример нравственного, совестливого отношения к ближнему и ответственного отношения к Богу и Церкви. Идеи гражданского самоуправления, парламентаризма, освобождения рабов, просвещения и светского, и религиозного, всех групп русского общества, принцип равной доброжелательности ко всем народам и ко всем религиозным сообществам был сначала явлен с высоты императорского трона и только вслед за тем начал распространяться в высшем сословии. «Император Александр собственно причина восстания 14 декабря. Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы?» – писал во время следствия убийца генерала Милорадовича Петр Каховский Императору Николаю I<sup>280</sup>.

Впервые с эпохи Петра в России образуется слой людей, озабоченных общественно-политическим состоянием отечества. Да, здесь было много моды, оглядок на революционную Францию, на Наполеона, было много игры в тайные общества, в античную гражданственность, но исключительно важно, что все эти взрослые игры питались жаждой Правды и искали не своего блага, а блага ближнего.

«Для того ли мы освободили Европу (в 1814 году. – А. З.), чтобы наложить цепи на себя? Для того ли дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?» (штабс-капитан А. А. Бестужев). «Любовь к отечеству и свободе сострадание к сочеловекам, находящимся в столь бедственном злополучии меня принудили вступить в сие общество»

(подпоручик Я. М. Андреевич). «Причина, побудившая нас к сему, была: угнетение народа. К облегчению его участи я решился из патриотизма жертвовать собою» (отставной поручик А. И. Борисов). «Идея о конституции и свободе крестьян прельстили меня, и я себя почел обязанным взойти в общество, которое мне казалось стремящимся ко благу моего отечества» (штабс-ротмистр князь А. П. Барятинский). «Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется и ста человек, которые бы не пылали страстью к свободе И мы не можем жить, подобно предкам нашим, ни варварами, ни рабами» (П. Г. Каховский). «Мы были сыны 1812 года. Порывом нашего сердца было жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к отечеству. Призываю в свидетели Самого Бога» (подполковник М. Муравьев-Апостол)<sup>281</sup>. Вольнодумством было проникнуто все современное молодое поколение, а не одни лишь члены тайных обществ: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою О, Государь! Чтобы истребить корень свободномыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кто родились и образовались в последнее царствование (Александра I. – А. З.)» (подполковник барон В. И. Штейнгель)<sup>282</sup>.

Это «дум высокое стремленье», высказанное декабристами во время следствия, можно множить и множить. К концу Александрова царствования действительно выросло и сложилось целое поколение дворян, желавших исцелить отечество от постыдных язв рабства и преобразовать его на началах гражданской свободы и самоответственности, принеся, если надо, в жертву этим идеалам и свое благополучие, и саму жизнь свою. Среди декабристов были, впрочем, не только пылкие юноши, но и вдумчивые мыслители, хорошо изучившие теорию и практику политической и экономической жизни своего времени, прекрасно знавшие основы государственного порядка Англии, Франции, Североамериканских Соединенных Штатов. Это был отнюдь не очередной дворянский заговор гвардии, какие не раз случались в России в XVIII столетии, как полагал С. Ф. Платонов<sup>283</sup>, но проявление внутреннего процесса

гражданского возрождения, нравственное и политическое взросление души высшего сословия, доведенного до полного инфантилизма в долгую предшествовавшую эпоху распадающейся сотерии. Процесса, протекавшего почти незаметно в российском образованном классе в течение всего предшествовавшего столетия и существенно ускорившегося в царствование Александра Павловича.

Великая трагедия России состояла в том, что власть и общество, его лучшие представители, двигаясь почти параллельно, увидели друг в друге не союзников и соратников, но, скорее, соперников и врагов. Впрочем, Государь Александр I до последних дней своего царствования щадил будущих декабристов, надеясь, должно быть, на совместную плодотворную работу, и лишь 10 ноября 1825 года отдал приказ начальнику Главного штаба генералу И. И. Дибичу арестовать заговорщиков. В эти дни ему уже были прекрасно известны не только филантропические проекты «Зеленой книги», не только конституционные программы Рылеева, Пестеля и Муравьева, но и совершенно конкретные планы цареубийства и истребления всей династии Романовых. И все же Александр медлил с репрессивными мерами до последней возможности. Он добился своей цели – вырастил поколение «новых людей», свободных от рабского угодничества и искательства чинов, поместий и орденов, желавших, подобно Чацкому, «служить», а не «прислуживаться». Теперь их следовало укоренить в религиозной и гражданской ответственности, но на это Государю Александру не хватило или жизни, или воли и умения...

Иначе думали члены тайных обществ. Большинство из них когда-то были очарованы Александром, его либеральными речами и действиями, его блистательной победой над Наполеоном, его открытостью к общению и скромностью в поведении. Но они ждали немедленных реформ, немедленной конституции, немедленного освобождения крепостных, а вместо этого видели военные поселения в России, освобождение крестьян только в иноязычных и иноверных западных провинциях и конституцию только для поляков и финнов, а не для русских. Они ждали, что их призовут к исполнению высоких

задач реформирования государства, но их, героев войны 1812 – 1814 годов, кажется, забыли. Горечь личной неволе, соединенная с уязвленным национальным чувством (полякам и финнам – все, а русским – ничего) и сознанием, что ужасные язвы отечества остаются неисцеленными, толкали этих честных и благородных людей в ряды заговорщиков.

«Александр I, в последнее десятилетие своего царствования, свалил все бремя государственного управления на плечи Аракчеева, на слугу, ему верного, но не государственного мужа, а сам подчинился наущениям Меттерниха и под конец предался мистицизму и думал только о спасении собственной души своей», – писал один из декабристов – лифляндский барон, поручик лейб-гвардии Финляндского полка Андрей Розен<sup>284</sup>.

О том же в воспоминаниях писал и известный русский журналист, очевидец событий 14 декабря, внук немца-пруссака на русской службе Н. И. Греч: «...бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14 декабря 1825 года имела зерном мысли чистые, намерения добрые. Какой честный человек и истинно просвещенный человек может равнодушно смотреть на нравственное унижение России Государство обитаемое сильным, смышленным, добрым в основании своем народом, представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами. Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя набрать восьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов; где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении ; где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и нимало не предосудительным; где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением обрядов и

поддерживанием суеверия в народе для обогащения своего; где народ коснеет в невежестве и разврате»<sup>285</sup>.

Изнанкой абсолютной монархии является пропасть между правящим государем и управляемым им народом. И если одна, все расширяющаяся, пропасть пролегла в России между рабами и рабовладельцами, то другая – между царем и обществом. А сам Александр, имея план далеко идущих реформ, никому не решался вполне его доверить, опасаясь, и не без основания, сопротивления дворян в деле эмансипации крепостных, священноначалия – в деле христианского просвещения, бюрократии – при переходе к парламентской форме правления. Он осуществлял свои реформы втайне от общества и даже втайне от самых верных своих слуг, доверяя каждому из них лишь часть плана преобразований. Абсолютизм XVIII века загнал Александра в ловушку.

Возможно ли было тогда, в 1820 – 1824 годах, привлечь хотя бы некоторых из видных заговорщиков к сотрудничеству? Ответить на этот вопрос нелегко. Уже были опыты Михаила Сперанского, который, максимально приближенный к Александру, за интриги против Царя был сослан в 1812 году в Пермь, и Василия Каразина, когда-то обласканного Государем за ум и искренность, а потом участвовавшего в возмущении Измайловского полка. Александр боялся раскрываться новым людям, а скрытность всегда порождает недоверие и как результат – интригу. Если бы в России продолжалась традиция соборного царства, как при первых двух Романовых, когда царю принадлежала сила власти, а народу – сила мнения; если бы оставался в Православной русской Церкви Патриарх, независимый от Царя в вопросах совести и религиозной жизни народа, то тогда столь болезненного разлома, скорее всего, не возникло бы. Но после века абсолютизма Царь оказался бесконечно одиноким. Вокруг него были или рабы, или враги, но не соратники, не сотрудники. Узел был затянут еще крепче тем, что абсолютизм создал крепостное рабство (вместо крепостного права XVII столетия) и дворянам-рабовладельцам для сохранения крестьян в повиновении был нужен именно

неограниченный монарх, но такой монарх вовсе не должен был отчитываться перед шляхетством в своих планах и поступках.

В абсолютной монархии, при известных цензурных ограничениях, общество может влиять на выбор политического курса своего государства или всеподданнейшими записками, или интригами, или восстанием. «Русское правительство – это абсолютная монархия, ограниченная убийством», – вскоре напишет маркиз де Кюстин<sup>286</sup>. Записки на Высочайшее Имя подавались, принимались царем обычно благосклонно, но последствия от них не были видны их авторам, так как каждый предлагаемый прожект включался в систему преобразований и совсем не обязательно подлежал немедленному исполнению. На интриги большинство порядочных и благородных людей были не способны, да и интригуют, как правило, не для блага отечества, а для собственного блага. Оставался комплот.

Осуждать декабристов невозможно. После всех бесчинств российских абсолютных монархов предшествовавшего столетия слепо повиноваться Высочайшей Воле было нелегко для умного и честного человека. Слишком много в этой Высочайшей Воле проявлялось греховного, человеческого, а не Божьего. «Самодержавие, конечно, прекрасная вещь, – записала 7 декабря 1854 года в свой дневник фрейлина цесаревны Марии Александровны умнейшая Анна Федоровна Тютчева, – утверждают, что это – воплощение на земле Божественной власти; это могло бы быть правдой, если бы к всемогуществу самодержавие могло присоединить всеведение, но так как, в конце концов, самодержец только человек, подверженный ошибкам и слабостям, власть в его руках становится опасной силой»<sup>287</sup>. И действительно – становилась, много раз становилась.

Осуждать декабристов невозможно, но не скорбеть о роковой ошибке честных «сынов отечества», принявших их царственного единомышленника за врага и супостата, тоже нельзя. Последствия этого ослепления были трагическими, если не фатальными. Бороться с заговорщиками Александр не желал, сотрудничать с ними не решился. Он знал, что заговорщики ждут его смерти, а многие желают ее и «ускорить»,

воспользовавшись присутствием Царя на летних общевойсковых маневрах 1826 года. Ощущая себя человеком грешным, недостойным, а потому и неспособным к решению громадных государственных задач, которые он ясно видел перед собой, Александр предпочел уйти, оставив бремя решений своему младшему брату Николаю, не оскверненному отцеубийством и развратной жизнью в молодые, еще «просвещенческие» годы, да к тому же получившему рождением сыновей как бы благословение от Бога. И здесь, я думаю, величайшая, хотя и благородная, ошибка благословенного Государя.

О, как важно было бы Александру остаться на престоле! Опыт покаянного чувства в грехах молодости, опыт обращения и обретения веры выковали удивительную по уму, воле, вере и цельности личность из старшего сына Императора Павла. Еще пятнадцать – двадцать лет царствования, и Александр, опираясь на новое просвещенное дворянство, скорее всего, довел бы Россию до освобождения крепостных, всеобщей грамотности, сознательной православной веры и «свободно-законных учреждений» в духе Грамоты Новосильцева. К 1850-м годам Россия по уровню гражданской свободы, национального согласия и благоденствия встала бы тогда вровень с самыми развитыми мировыми державами, не потеряв при этом ни историко-правового преемства, ни веры Православной, а, скорее, упрочив их. Но Александр ушел, по своей ли воле, по воле Божьей – Бог весть.

И воцарился брат его Николай вместо него.

## Примечания

- <sup>1</sup> - Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 1991, стр. 358.
- <sup>2</sup> - Киреевский И. В. Обзорение современного состояния литературы. – В его кн.: «Критика и эстетика». М., 1979, стр. 157.
- <sup>3</sup> - Шмеман Александр, прот. Исторический путь Православия. М., «Паломник», 1993, стр. 379.
- <sup>4</sup> - Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. – В его Собр. соч. Т. 4. М., 1999, стр. 24.
- <sup>5</sup> - Там же, стр. 59.
- <sup>6</sup> - Катков Г. М. Февральская революция. М., «Русский путь», 1997, стр. 273 – 274.
- <sup>7</sup> - Ленин В. И. Доклад о революции 1905 г. – Собр. соч., 3-е изд. Т. 19, стр. 351.
- <sup>8</sup> - Палеолог Морис. Дневник посла. М., 2003, стр. 740– 741.
- <sup>9</sup> - Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М., «Отчий дом», 1994, стр. 146 – 148.
- <sup>10</sup> - Тойнби А. Постигание истории, стр. 261.
- <sup>11</sup> - Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997, стр. 161.
- <sup>12</sup> - «Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния». Кн. 2, вып. 2. Пг., 1918, стр. 383.
- <sup>13</sup> - См. об этом: Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996, стр. 296 – 329.
- <sup>14</sup> - Цит. по кн.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2000, стр. 539.
- <sup>15</sup> - См.: там же, стр. 540.
- <sup>16</sup> - Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. СПб., 1999, стр. 300.
- <sup>17</sup> - «„О повреждении нравов в России” князя М. Щербатова и „Путешествие” А. Радищева». London, 1858, стр. 85.
- <sup>18</sup> - См., напр.: Лаппо-Данилевский А. С. Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения



России. СПб., 1905.

<sup>19</sup> - Последней из серьезных работ на эту тему является, сколь мне известно, коллективная монография Института российской истории РАН «Собственность в России. Средневековье и Новое время» (М., 2001).

<sup>20</sup> - Пушкарев С. Г. Обзор русской истории, стр. 241.

<sup>21</sup> - Любавский М. К. Русская история XVII – XVIII вв. СПб., 2002, стр. 463.

<sup>22</sup> - Любавский М. К. Указ. соч., стр. 463, 465.

<sup>23</sup> - «У помещичьих крестьян понятие личности не существует», – указывал, например, А. П. Заболоцкий-Десятовский («Граф П. Д. Киселев и его время: материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II». Т. 2. СПб., 1882, стр. 304).

<sup>24</sup> - Любавский М. К. Указ. соч., стр. 405.

<sup>25</sup> - Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003, стр. 349.

<sup>26</sup> - Там же, стр. 352.

<sup>27</sup> - Любавский М. К. Указ. соч., стр. 466.

<sup>28</sup> - См. об этом: Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999.

<sup>29</sup> - Керенский А. Ф. История России. Иркутск, 1996, стр. 111.

<sup>30</sup> - Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 – 1914. М., 1995.

<sup>31</sup> - Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1978, стр. 90.

<sup>32</sup> - Зубов А. Б. Сотериологическая модель генезиса государственности. – «Восток», 1993, № 6, стр. 3– 7.

<sup>33</sup> - Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 474 – 475.

<sup>34</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 643 – 644.

<sup>35</sup> - «Полное собрание законов Российской империи». I. Т. 18, № 12966, стр. 335.

<sup>36</sup> - В 1719 году частновладельческие крестьяне составляли 48,4 процента населения России, в 1762-м – 52,7, в 1795-м – 53,9, в 1811-м – 51,7, в 1833-м – 44,9, в 1858-м – 39,2. (Кабузан

В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой половине XIX века. М., 1971, стр. 69, 89, 117, 129, 153, 177).

<sup>37</sup> - Любавский М. К. Указ. соч., стр. 478 – 488.

<sup>38</sup> - Таково мнение Г. В. Вернадского. (См. в его кн.: «Русская история...» М., 1997, стр. 178).

<sup>39</sup> - Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003, стр. 23.

<sup>40</sup> - Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, стр. 178.

<sup>41</sup> - Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 496.

<sup>42</sup> - Пушкин А. С. Александр Радищев. – Полн. собр. соч. Т. 7. Л., 1977, стр. 245.

<sup>43</sup> - Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1984, стр. 233 – 234.

<sup>44</sup> - «Крестьянское движение 1827 – 1869». Вып. 1. 1931, стр. 9.

<sup>45</sup> - Карамзин Н. М. Письмо сельского жителя. – «Сочинения». Т. 7. СПб., 1834, стр. 243 – 244.

<sup>46</sup> - Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998, стр. 554 – 572.

<sup>47</sup> - Миронов Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 375 – 377.

<sup>48</sup> - Там же, стр. 401 – 405. См. также дискуссию «Крепостное право в России» – «Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб., 1997.

<sup>49</sup> - Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 531.

<sup>50</sup> - Миронов Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 405.

<sup>51</sup> - Там же, стр. 407.

<sup>52</sup> - Миронов Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII – нач. XX в.). Т. 1. СПб., 2000, стр. 84.

<sup>53</sup> - «Полное собрание законов Российской Империи». Вып. I. Т. 17, № 12748 (см. также т. 25, № 19208).

<sup>54</sup> - Дискуссия “Крепостное право и крепостничество в России” в кн.: “Английская набережная, 4”. Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб., 1997, стр. 30.

<sup>55</sup> - Миронов Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 394.

<sup>56</sup> - Заблоцкий-Десятовский А. П. О крепостном состоянии в России (1841 г.). – В кн.: “Конец крепостничества в России”. М., 1994, стр. 50 – 51.

<sup>57</sup> - См.: “О повреждении нравов в России” князя М. Щербатова и „Путешествие” А. Радищева”. L., Trubner a. Co, 1858, стр. 34 (М., 1984. Репринт. изд.).

<sup>58</sup> - Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 4. СПб., 1882, стр. 304.

<sup>59</sup> - Заблоцкий-Десятовский А. П. О крепостном состоянии в России (1841 г.), стр. 54 – 55.

<sup>60</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917. Власть и общество. М., 2001, стр. 80.

<sup>61</sup> - “Нравственно-политический отчет за 1839 год”. – В кн.: “Конец крепостничества в России”, стр. 62.

<sup>62</sup> - “Послания Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси”. М., 1990, стр. 22.

<sup>63</sup> - Тойнби А. Дж. Постигание Истории. Сборник. М., 1991, стр. 341, 405.

<sup>64</sup> - Там же, стр. 304 – 305, 347.

<sup>65</sup> - Клейнмихель М., графиня. Из потонувшего мира. Берлин, б/г., стр. 183 – 185.

<sup>66</sup> - Цит. по кн.: Платонов С. Ф. Лекции по Русской истории. М., 2000, стр. 632.

<sup>67</sup> - Дашкова Е. Р. Записки 1743 – 1810 гг. Л., 1986, стр. 47 – 48.

<sup>68</sup> - Любавский М. К. Русская история XVII – XVIII вв. М., 2001, стр. 532.

<sup>69</sup> - Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х томах. Т. 2. М., 1991, стр. 452.

<sup>70</sup> - „О повреждении нравов в России” князя М. Щербатова и „Путешествие” А. Радищева”, стр. 94.

<sup>71</sup> - Доусон К. Г. Боги революции. СПб., 2002, стр. 103 – 104.

<sup>72</sup> - Проект ее никогда не произнесенной речи, но распространявшейся по всей Европе, напечатан в “Чтениях Общества ревнителей истории и древностей Российских”, кн. 2, 1862.

<sup>73</sup> - Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905, стр. 118 – 119.

<sup>74</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1988, стр. 208.

<sup>75</sup> - Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13 – 16 августа 2000 года. Информационный бюллетень Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 2000, август, стр. 57.

<sup>76</sup> - Доусон К. Г. Боги Революции, стр. 109 – 110.

<sup>77</sup> - Де Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998, стр. 566 – 567.

<sup>78</sup> - Цит. по кн.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, стр. 45.

<sup>79</sup> - Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002, стр. 845.

<sup>80</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 117.

<sup>81</sup> - Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001, стр. 181.

<sup>82</sup> - Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917. Cambridge, 1950, p. 16. Речь идет как о предвыборных объединениях “Вера и Отечество” архиепископа Сергия Страгородского в Нижнем Новгороде и “Христианский Союз” (см.: “Известия Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссии”, 1917, № 24, 16 декабря), так и об отдельных кандидатах, заявивших своей целью поддержку веры, например, таковы старообрядцы Хвалынского уезда Саратовской губернии (Radkey O. H. Op. cit., p. 67 – 68).

<sup>83</sup> - Тойнби А. Дж. Постигание истории..., стр. 531.

<sup>84</sup> - Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Т. 1. Париж, 1948, стр. 105.

<sup>85</sup> - Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 2001, стр. 29.

<sup>86</sup> - См. кроме уже упомянутых в том числе: Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916; "Масонство в его прошлом и настоящем". Под ред. Н. П. Сидорова и С. П. Мельгунова. В 2-х томах. Пг., 1916; Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916; Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915; In-ho Li Ryu. Moscow Freemasons and the Rosicrucian Order. A Study in Organisation and Control. – In: "The Eighteenth Century Russia". Ed. by J. G. Garard. Oxford, 1973.

<sup>87</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 115 – 116.

<sup>88</sup> - Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 322.

<sup>89</sup> - Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой, стр. 829.

<sup>90</sup> - Цит. по кн.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 215.

<sup>91</sup> - См.: "Новое начертание истинныя теологии". Часть 2. М., 1784, стр. 9 – 15; Штендер Г.-Ф. Истина религии. Часть 2. М., 1785, стр. 348 – 349.

<sup>92</sup> - См.: "Путешествие в Землю Офирскую. Сочинения князя М. М. Щербатова". Т. 1. СПб., 1896 – 1898, стр. 819, 910 – 911. А также "Записки" Цесаревича Павла Петровича о военной реформе, посланные графу П. И. Панину в 1774 – 1779 годах, – "Русская старина", 1882, № 3.

<sup>93</sup> - Особенно характерны здесь речи С. И. Гамалея и беседы Руфа Степанова. См.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 232 – 234.

<sup>94</sup> - Там же, стр. 255.

<sup>95</sup> - Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой, стр. 845.

<sup>96</sup> - Соловьев В. С. Собрание сочинений. Т. 7. Брюссель, 1966, стр. 310.

<sup>97</sup> - Цит. по кн.: Томсинов В. А. Светило русской бюрократии. М., 1997, стр. 40.

<sup>98</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2000, стр. 656 – 657.

<sup>99</sup> - См.: Томсинов В. А. Светило русской бюрократии, стр. 41.

<sup>100</sup> - Пушкин А. С. Дневники. Запись 21 мая 1834. – В его Полн. собр. соч. в десяти томах, т. 8. Л., 1978, стр. 39.

<sup>101</sup> - Шмеман Александр, прот. Исторический путь Православия. М., 1993, стр. 384.

<sup>102</sup> - «Memoires de prince Adam Czartoryski». Т. I. Paris, 1887, р. 96.

<sup>103</sup> - См. в кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1904, стр. 112.

<sup>104</sup> - Там же, стр. 114.

<sup>105</sup> - «Memoires de prince Adam Czartoryski». Т. I, р. 117.

<sup>106</sup> - «Memoires de prince Adam Czartoryski». Т. 1, р. 150.

<sup>107</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 1, стр. 162 – 164.

<sup>108</sup> - Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. Лекция V. М., 2004, стр. 119 – 120. Проект этой грамоты опубликован в кн. XXIX «Архива кн. Воронцова».

<sup>109</sup> - «Введение к уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования)». – В кн.: Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002, стр. 335 – 410.

<sup>110</sup> - Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991, стр. 90.

<sup>111</sup> - Вернадский Г. В. Русская история. Учебник. М., 2001, стр. 199.

<sup>112</sup> - Конюченко А. И. Александр II. Цена реформ. – В кн.: Волков Е. В., Конюченко А. И. Русские императоры XIX века в

свидетельствах современников и оценках потомков. Челябинск, 2002, стр. 214.

<sup>113</sup> - Цит. по кн.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 667.

<sup>114</sup> - Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России, стр. 72 – 74.

<sup>115</sup> - Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 50.

<sup>116</sup> - Миронов Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII – нач. XX в.). Т 1. СПб., 2000, стр. 394.

<sup>117</sup> - Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997, стр. 161 – 162.

<sup>118</sup> - Цит. по кн.: Томсинов В. А. Светило русской бюрократии. М., 1991, стр. 134.

<sup>119</sup> - «Записки Александра Ивановича Кошелёва (1812 – 1883 годы)». М., 2002, стр. 9.

<sup>120</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 92.

<sup>121</sup> - «Сборник Императорского Российского Исторического Общества». Т. 83, стр. 176. Воспроизведено: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 453.

<sup>122</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 690.

<sup>123</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 128.

<sup>124</sup> - Доусон К. Г. Боги революции. СПб., 2002, стр. 276 – 277.

<sup>125</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 128.

<sup>126</sup> - Цит. по кн.: Волков Е. В., Конюченко А. И. Русские императоры XIX века..., стр. 47.

<sup>127</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. М., 1999, стр. 146.

<sup>128</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 112.

<sup>129</sup> - Там же, стр. 142.

<sup>130</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 179.

<sup>131</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 58.

- <sup>132</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 148 – 149.
- <sup>133</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 111 – 112.
- <sup>134</sup> - Цит. по кн.: Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 190.
- <sup>135</sup> - Цит. по кн.: Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 134.
- <sup>136</sup> - Тарасов Д. К. Император Александр I. Последние годы царствования, болезнь, кончина и погребение. Пг., 1915, стр. 108, примеч. 1.
- <sup>137</sup> - Шильдер Н. К. Александр I. Т. 4, стр. 132 – 134, 140.
- <sup>138</sup> - Цит. по кн.: Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 190.
- <sup>139</sup> - «Русский архив», 1867, стр. 1037.
- <sup>140</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары об Императоре Александре и его дворе. – В кн.: «Державный сфинкс». М., 1999, стр. 299 – 301.
- <sup>141</sup> - «Русский архив», 1882, кн. 2, стр. 161.
- <sup>142</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: «Державный сфинкс», стр. 292 – 293.
- <sup>143</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 681.
- <sup>144</sup> - Пушкарёв С. Г. Россия 1801 – 1917. Власть и общество. М., 2001, стр. 25 – 26.
- <sup>145</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: «Державный сфинкс», стр. 374.
- <sup>146</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 324.
- <sup>147</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: «Державный сфинкс», стр. 294.
- <sup>148</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 58 – 59.
- <sup>149</sup> - Там же, стр. 354.
- <sup>150</sup> - Волков Е. В., Конюченко А. И. Русские императоры XIX века..., стр. 83 – 84.



- <sup>151</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: «Державный сфинкс», стр. 355.
- <sup>152</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. 4. СПб., 1904, стр. 157 – 158.
- <sup>153</sup> - «Географический и статистический карманный атлас». Пг., 1915, табл. 50.
- <sup>154</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2000, стр. 680.
- <sup>155</sup> - Там же.
- <sup>156</sup> - Соловьев С. М. Учебная книга русской истории. М., 2003, стр. 852 – 853.
- <sup>157</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. М., 1999, стр. 150.
- <sup>158</sup> - ЦГИА РФ, ф. 796, оп. 125, год 1818, д. 1283.
- <sup>159</sup> - Там же, лл. 38 – 38 об.
- <sup>160</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 134 – 135; Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия. Комиссия духовных училищ. СПб., 1894.
- <sup>161</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 148.
- <sup>162</sup> - «Рескрипт Александра I губернатору Херсона 21.XII.1816». – В кн.: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 2004, стр. 145.
- <sup>163</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 170 – 171.
- <sup>164</sup> - Там же, стр. 184.
- <sup>165</sup> - О своих планах построения системы всеобщего мира Император Александр говорил графине Софии Тизенгауз, в замужестве графине Шуазель-Гуфье, еще в декабре 1812 года, в только что освобожденной русскими войсками Вильне. «Почему бы всем государям и европейским народам не сговориться между собой, чтобы любить друг друга и жить в братстве, взаимно помогая нуждающимся в помощи? Торговля стала бы общим благом в этом обширном сообществе,

некоторые из членов которого, несомненно, различались бы между собой по религии; но дух терпимости объединил бы все исповедания”, – записала умная девушка в своем дневнике обращенные к ней слова Государя (Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”. М., 1999, стр. 295).

<sup>166</sup> - Полный текст этого фрагмента см.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины. СПб., 2001, стр. 249 – 251.

<sup>167</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917. Власть и общество. М., 2001, стр. 187.

<sup>168</sup> - “Полное собрание законов Российской империи”. Т. XXXIV, № 27.106.

<sup>169</sup> - Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001, стр. 206.

<sup>170</sup> - Письмо от 18 марта 1816 года. Публикация французского подлинника. – В кн.: Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 301 – 302.

<sup>171</sup> - Слова Императора записаны А. Малиновским для Императрицы Марии Федоровны. – См. в кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 50.

<sup>172</sup> - Chateaubriand. Le Congres de Verone. – Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 259.

<sup>173</sup> - Письмо от 23 декабря 1822 (4 января 1823) года – там же, стр. 265.

<sup>174</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 333.

<sup>175</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 114.

<sup>176</sup> - Михайловский-Данилевский А. Записки 1814 и 1815 гг. СПб., 1832, стр. 3

<sup>177</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 293.

<sup>178</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917, стр. 184.

<sup>179</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 312 – 313.

<sup>180</sup> - Кюстин А. Россия в 1839 году. Т. 1. М., 2000, стр. 171.

- <sup>181</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 355.
- <sup>182</sup> - Тойнби А. Постигание истории. М., 1991, стр. 323.
- <sup>183</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 3, стр. 381.
- <sup>184</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917, стр. 24 – 25.
- <sup>185</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 294.
- <sup>186</sup> - Карамзин рассказывает об этом в письме к Дмитриеву от 2 сентября 1825 года.
- <sup>187</sup> - Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 – 1914. М., 1995, стр. 114. См. также: Вернадский Г. В. Конституционная хартия Российской империи от 1820 года. Париж, 1933, стр. VII; Fateev A. Le probleme de l'individu et de l'homme d'etat dans le personalite historique d'Alexandre Ier, Empereur de toutes les Russies. – “Записки научно-исследовательского объединения в Праге”. Т. IX, тетрадь 4. Прага, 1938, стр. 2 – 3.
- <sup>188</sup> - Официальный русский перевод П. А. Вяземского – в кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 86.
- <sup>189</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 171.
- <sup>190</sup> - Томсинов В. А. Светило русской бюрократии. М., 1997, стр. 204.
- <sup>191</sup> - “Сборник Императорского Российского Исторического Общества”. Т. 78, стр. 192; Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 95.
- <sup>192</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I, стр. 170 – 171.
- <sup>193</sup> - См. текст проекта “Уставной Грамоты” в кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 499 и далее.
- <sup>194</sup> - Вернадский Г. В. Конституционная хартия Российской Империи от 1820 г. Париж, 1933.
- <sup>195</sup> - Вернадский Г. В. Русская история, стр. 208.
- <sup>196</sup> - Леонтович В. В. История либерализма в России. М., 1995, стр. 119.

- <sup>197</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические записки... – В кн.: “Державный сфинкс”, стр. 335.
- <sup>198</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 87.
- <sup>199</sup> - Там же, стр. 151 – 152.
- <sup>200</sup> - Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 – 1914. М., 1995, стр. 60.
- <sup>201</sup> - Там же, стр. 61.
- <sup>202</sup> - См., например, мнение декабриста Николая Тургенева в кн.: Иконников В. Граф Н. С. Мордвинов. СПб., 1873, стр. 236.
- <sup>203</sup> - Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 2004, стр. 148.
- <sup>204</sup> - Письмо М. Сперанского А. Столыпину из Пензы 2 (14) мая 1818 года. Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. В 4-х томах, т. 4. СПб., 1905, стр. 94.
- <sup>205</sup> - Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 40 – 41.
- <sup>206</sup> - См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 1. Л., 1977, стр. 457 – 458.
- <sup>207</sup> - Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев). М., 1996, стр. 195.
- <sup>208</sup> - Там же.
- <sup>209</sup> - Князький И. Алексей Андреевич Аракчеев. – В кн.: «Энциклопедия для детей». В 16-ти томах, т. 5, ч. 2. М., 1997, стр. 267.
- <sup>210</sup> - Письмо от 2 мая 1818 года («Русский архив», 1869, стр. 1697, 1703). Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 92 – 94. Выделенный курсивом текст дан в переводе с французского; все остальное написано по-русски.
- <sup>211</sup> - См.: Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002, стр. 452 – 463.
- <sup>212</sup> - Кобеко Д. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811 – 1843. СПб., 1911, стр. 242.
- <sup>213</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 217 – 218.

<sup>214</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2000, стр. 683.

<sup>215</sup> - «Русская старина», 1904, апрель, стр. 15.

<sup>216</sup> - Кизеветтер А. А. Александр I и Аракчеев. – В его кн.: «Исторические силуэты». Ростов-на-Дону, 1997, стр. 327.

<sup>217</sup> - Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев), стр. 192.

<sup>218</sup> - Цит. по кн.: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века, стр. 211 – 212.

<sup>219</sup> - Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары. – В кн.: «Державный сфинкс. История России и дома Романовых в мемуарах современников». М., 1999, стр. 294 – 295.

<sup>220</sup> - Эту пенсию на лечение за границей в Карлсбаде Аракчеев получил в 1827 году и положил в банк на имя императрицы Марии Федоровны, дабы на проценты с капитала содержались пять бедных девиц в военно-сиротском приюте сверх штата. Сам же граф в последние годы жизни распродал свое столовое серебро и дорогие подарки иноземных монархов, чтобы сводить концы с концами (Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб., 1903, стр. 41 – 43).

<sup>221</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I..., стр. 165, 179.

<sup>222</sup> - Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003, стр. 51 – 52.

<sup>223</sup> - Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001, стр. 209.

<sup>224</sup> - Там же, стр. 208 – 209.

<sup>225</sup> - См.: «Записки сенатора И. В. Лопухина». М., 1990, стр. 169 – 171.

<sup>226</sup> - Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991, стр. 64 – 65.

<sup>227</sup> - Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев), стр. 135; Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 452.

<sup>228</sup> - Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев), стр. 226.

<sup>229</sup> - Там же, стр. 140.

<sup>230</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 240.

<sup>231</sup> - Вигель Ф. Ф. Воспоминания в 7-ми частях, ч. 5. М., 1865, стр. 61.

<sup>232</sup> - Пенкин Ф. А. Воспоминания о военно-учительском институте. – В кн.: «Аракчеев. Свидетельства современников». М., 2000, стр. 149.

<sup>233</sup> - Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. В 2-х книгах, кн. 1. М., 1997, стр. 71.

<sup>234</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917..., стр. 41.

<sup>235</sup> - Вернадский Г. В. Русская история, стр. 209.

<sup>236</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 32.

<sup>237</sup> - «Переписка Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева». Под редакцией Грота и Пекарского. СПб., 1866, стр. 400 – 401.

<sup>238</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 244.

<sup>239</sup> - Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев), стр. 222.

<sup>240</sup> - Пенкин Ф. А. Воспоминания о военно-учительском институте. – В кн.: «Аракчеев. Свидетельства современников», стр. 152 – 153.

<sup>241</sup> - Пенкин Ф. А. Воспоминания о военно-учительском институте. – В кн.: «Аракчеев. Свидетельства современников», стр. 150.

<sup>242</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I..., стр. 181 – 182.

<sup>243</sup> - Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. Л., 1979, стр. 371.

<sup>244</sup> - Первое известное мне упоминание о «разрушительных стремлениях тайных обществ, заблуждения которых могли бы подать повод к справедливому беспокойству», присутствует в письме Александра к королю Фридриху-Вильгельму, написанном еще 15 (27) января 1816 года (см.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 63).

<sup>245</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I..., стр. 191.

<sup>246</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 179.

<sup>247</sup> - Там же, стр. 182.

- <sup>248</sup> - Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. 7. СПб., 1882, стр. 453.
- <sup>249</sup> - Metternich C. Memoires. Т. 3, р. 374.
- <sup>250</sup> - «Русский архив», 1892, № 6, стр. 201.
- <sup>251</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 185.
- <sup>252</sup> - Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. 7, стр. 451 – 452.
- <sup>253</sup> - Письмо великого князя Константина Павловича начальнику главного штаба барону Дибичу от 26 марта 1826 г. – В кн.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 494.
- <sup>254</sup> - Там же, стр. 155 – 156.
- <sup>255</sup> - Там же, стр. 262 – 263.
- <sup>256</sup> - Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России, стр. 63 – 64.
- <sup>257</sup> - Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917..., стр. 24.
- <sup>258</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 102.
- <sup>259</sup> - Кошелёв А. И. Записки. М., 2002, стр. 15 – 16.
- <sup>260</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 132.
- <sup>261</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 133 – 134.
- <sup>262</sup> - «Переписка Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева», стр. 204.
- <sup>263</sup> - Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 683.
- <sup>264</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I..., стр. 193, 244.
- <sup>265</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 59.
- <sup>266</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 153.
- <sup>267</sup> - Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 156 – 157.
- <sup>268</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 319; см. также: Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия,

стр. 160 – 161; Миропольский С. Фотий Спасский. Юрьевский архимандрит. Историко-биографический очерк. – «Вестник Европы», 1878, кн. 12, стр. 608, 615.

<sup>269</sup> - Гёц П. П. фон. Князь А. Н. Голицын и его время. – В кн.: «Аракчеев. Свидетельства современников», стр. 42.

<sup>270</sup> - Шильдер Н. К. Император Александр I... Т. 4, стр. 319.

<sup>271</sup> - «Ни одна из ветвей христианства не обнаружила такого заскорузлого (callous) равнодушия к общественной и политической справедливости, как Русская Православная Церковь в синодальный период», – жестко, но, увы, справедливо отмечал Ричард Пайпс (Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974, p. 245).

<sup>272</sup> - Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 113, 114.

<sup>273</sup> - Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 115.

<sup>274</sup> - Там же, стр. 115 – 117.

<sup>275</sup> - «Положимся на Бога. Он устроит все лучше нас, слабых и смертных», – так в конце августа 1825 года ответил Император князю Голицыну на его опасения в тайном характере манифеста о престолонаследии (Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857, стр. 25, 31).

<sup>276</sup> - Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 164.

<sup>277</sup> - Георгий Вернадский в примечании к своей «Русской истории» пишет о тайне Федора Кузьмича: «Две недавно появившиеся книги поддерживают мнение, что Федор Кузьмич действительно был бывшим царем Александром I. Одна из них – L. I. Strakhovsky. The Russian Alexander I, N. Y. 1947. – Другая – М. В. Зюзюкин. Мистерия Императора Александра I, Буэнос-Айрес, 1952. – Профессор Страховский предполагает, что „доказательства его утверждения могут быть найдены в частных бумагах английского семейства Кэчкарт“. Эти документы опровергают любые другие версии, в том числе и исследования великого князя Николая Михайловича» (Вернадский Г. Русская история, стр. 518). Исследования современного русского



историка, работающего в Швейцарии, князя Г. И. Васильчикова, подтверждают этот вывод Г. В. Вернадского.

<sup>278</sup> - Великий князь Николай Михайлович. Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I. – «Исторический вестник», 1916, № 7, стр. 105.

<sup>279</sup> - Шильдер Н. К. Император Николай I... Кн. 1, стр. 460 – 461.

<sup>280</sup> - «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов». Т. 1. М., 1951, стр. 511.

<sup>281</sup> - «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов». Т. 1, стр. 492 – 502; т. 2, стр. 447; т. 3, стр. 97, 86 соотв.

<sup>282</sup> - Штейнгель В. И. Сочинения и письма. В 2-х томах, т. 1. Иркутск, 1985, стр. 223 – 224.

<sup>283</sup> - См.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 688.

<sup>284</sup> - Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 113.

<sup>285</sup> - Греч Н. И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. Цит. по кн.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый... Кн. 1, стр. 542 – 543.

<sup>286</sup> - Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х томах, т. 1. М., 2000, стр. 180.

<sup>287</sup> - Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М., 2000, стр. 116.